

8  
у  
т

Гре

|   |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| "   | "   | "   | "   | "   | "   | ... |
| Brightside & Carbrook Co-operative Society<br>Limited | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bristol Co-operative Society, Ltd.                    | ... | ... |     |     |     |     |
| Brown's Dairies, Liverpool                            | ... | ... |     |     |     |     |
| Burgess Dairy Co., Ltd., Manchester                   | ... |     |     |     |     |     |
| "   | "   | "   | "   | "   | "   | ... |
| Burgess, J. G., Ltd., Penzance                        | ... | ... |     |     |     |     |
| Burnley Co-operative Society, Limited                 | ... |     |     |     |     |     |
| Burton-on-Trent Co-operative Society, Ltd.            | ... |     |     |     |     |     |
| Bury Dt. Co-operative Society, Limited                | ... |     |     |     |     |     |
| Cadbury Bros. Ltd.                                    | ... | ... | ... | ... | ... | 1   |
| Cadbury Bros., Limited, Frampton-on-Severn            |     |     |     |     |     | 3   |
| "   | "   | "   | "   | "   | "   | 1   |
| Cadbury Bros., Limited, Knighton                      | ... | ... |     |     |     | 1   |
| Cadbury Bros., Ltd., Newent                           |     |     |     |     |     | 1   |

Е. П. ГРЕБЕНКА.

8 ут

6

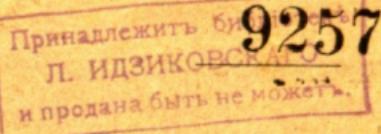
K

в  
запис

Гре

Всё в ~~очти чистом~~ санитарном состоянии -  
**ЗАПИСКИ СТУДЕНТА.**

НОВОСТЬ.



ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ЗАЙЦА.



Издание книгопродавца М. В. Клюкина.

Москва, Моховая, д. Бенкендроффъ.

О чём ви  
хотите? Приму  
~~всех~~ своих членов  
личных и от этой  
жизни не возвращаюсь  
без вас!

Дозволено цензурою. Москва, 18-го августа, 1901 г.

Печатано морду побиту  
и лице въ красной  
шапке.  
М. Гербекъ.  
Будь умно и смиренъ.  
Слово до  
девушки.

Хотько бы знало, како такъ характеръ  
характеръ създалъ то то, студен-  
ческое запасаешь бывшими пер-  
ицами, чимъ бы прогодѣть чу-  
жому, его ученику не хвастало  
и въ послѣдніе искажено старания  
прогодѣ, ЗАПИСКИ СТУДЕНТА. РУЧУЩІЕ  
СТАВЛЕНІЕ ОДѢЖДЫ ИХЪ.

Нечестивъ чинъ създаніе студенту...  
Entre le commencement et l'apogée de la saison !  
Это очень чуждо!!! V. Hugo.

Я желалъ бы знать, что думаютъ лошади во время голо-  
ледицы? Сто чудеса зимы

Не знаю какъ вы, а я съ большимъ сожалѣніемъ смот-  
рю на лошадей, когда улицы покроетъ гладкій ледъ и бѣд-  
ныя животныя, робко ступая, скользя, шатаются и вся-  
кую секунду готовы упасть, можетъ-быть, съ тѣмъ, чтобы  
не встать болѣе. Особенно гибельны въ это время торцовыя  
мостовыя и мости. Люди — животныя разумныя, при-  
выкшія ходить безъ опасенія на скользкомъ паркетѣ, и тѣ  
нерѣдко падаютъ во время гололедицы — а лошади, бѣдныя  
лошади! Право, жаль ихъ....

Осенью 184... года, часу въ 10-мъ утра, въ Петербургѣ  
была знаменитая гололедица. Все живое всякаго пола и  
возраста, болѣе или менѣе падало. Тучковъ мостъ представ-  
лялъ длинное поприще для этого упражненія.

Онъ былъ похожъ на арену, усыпанную побѣжденными.  
Особливо камнемъ преткновенія, о который разбивались  
всѣ усилия путешественниковъ, былъ маленький подъѣмный  
мостики посреди длиннаго моста на сваяхъ... Я предпола-  
гаю моихъ читателей до того образованными, что опи-

Мартавичъ 3486!

очень хорошо знаютъ Тучковъ мостъ, что, проѣзжая или проходя его, они на половинѣ своего пути подымались на холмикъ, и, спустясь съ холмика, опять продолжали свой путь спокойно, даже до каменной мостовой—и очень хорошо понимаютъ, что этотъ холмикъ не есть произведеніе природы, но подъемный мостъ, построенный инженерами для пользы общественной: ночью онъ растворяется и пропускаетъ корабли, а днемъ, имѣя подобіе естественной горки, пріятно разнообразить путешествіе....

Утромъ, во время знаменитой гололедицы, о которой уже сказано выше, я подходилъ къ подъемному мостику на Тучковомъ мосту; деревянная горка, остеклованная льдомъ, представилась глазамъ моимъ; передъ горкою стояла дюжая сѣрая лошадь, запряженная въ распуски, и, поставя врозь все четыре ноги, съ ужасомъ смотрѣла на предстоящую опасность; такъ называемый ломовой извозчикъ, стоя съ боку, собралъ возжи въ одну руку и махалъ ими надъ лошадью, приговаривая на распѣвъ: Ну! ну-у-у! у! На распускахъ лежалъ бѣлый досчатый гробъ, привязанный веревкою; сзади стояла женщина лѣтъ пятидесяти, въ голубой заячьей шубкѣ, съ желтымъ поношеннымъ платкомъ на головѣ.

— Ну! ну! ну-у-у! —крикнулъ извозчикъ, сильно прежняго.

Лошадь съ усилиемъ ступила передними ногами на мостику, зачастаила ими, скользя внизъ по льду, и упала на колѣни.

— Ну! разомъ! ну! Сѣрко! —прикрикнулъ извозчикъ, ударивъ лошадь концомъ возжей. Сѣрко быстро всталъ, прынувъ впередъ, невѣрно цѣпляясь подковами, и стена растянулся на мосту.

Два офицера выругали извозчика за то, что его лошадь мѣшала имъ пройти свободно.

Извозчикъ ругалъ мостъ и гололедицу, и билъ возжами Сѣрко, который стональ, жалобно смотря на своего хозяина.

Онъ не подымется: развѣ ты не видишь, у него ноги

изломаны? — сказалъ хладнокровно какой-то прохожій, въ синемъ картузѣ, съ красными выпушками.

— Ой, матушки! — вскрикнула старуха въ голубой шубкѣ! стоявшая позади роспусковъ: — бѣдный Яковъ Петровичъ! и тутъ ему талану нѣту: и на Смоленское сразу не доѣдетъ,

— Ты родственника хоронишь, старуха? — спросилъ я.

— Какого родственника! Это ихъ благородіе, дворянинъ, чиновникъ. Добрый былъ — царство ему небесное, а какой безталанный!.. Вотъ, хороню на свои деньги.... хоть сама не купчиха какая, не богачка.... Богъ заплатитъ, ради добрая покойника....

Недавно члены какого-то человѣколюбиваго общества, сложась по четвертаку, склонили безроднаго бѣдняка. Цѣлую недѣлю говорили объ этомъ поступкѣ, и восемь разныхъ статей было написано о немъ въ газетахъ, между тѣмъ, какъ о пріѣздѣ хивинскаго посланника говорили только сутки, о возвращеніи Тальони — двои, о привозѣ свѣжихъ устрицъ — трои сутки, о механическомъ дивѣ и о превосходнѣйшихъ камепныхъ зубахъ (каждаго изъ Вагенгеймовъ особо) публикуется въ „Полицейской Газетѣ“ только по три раза.

Передо мной стояла простая, необразованная баба, которая, не будучи членомъ человѣколюбиваго общества, не складываясь ни съ кѣмъ, на послѣднія деньги, какъ могла, хоронила资料 своего бѣднаго собрата-человѣка, и, какъ мнѣ казалось, далека была отъ мысли публиковать о своемъ пожертвованіи.

Я вообще очень привязанъ къ прекрасному полу: люблю безъ души молоденькихъ и чрезвычайно уважаю пожилыхъ; но я съ особеннымъ уваженіемъ смотрѣль на бѣдную старушку въ голубой шубкѣ, и какъ ниже ея въ то время показались мнѣ многія изъ прекрасныхъ дамъ, читающихъ французскіе романы, отчаянно играющихъ въ карты, и даже могущихъ доставить своему protégé выгодное mѣсто!..

Прохожій, котораго, по синей фуражкѣ, я счелъ за ветеринарного врача, болѣе согаль, нежели сказали правду,

потому-что Сърко, наконецъ, не выдержалъ манипуляціи извозчика, всталъ на все четыре ноги, и кое-какъ переправясь черезъ подъёмный мостики, тихо потащилъ гробъ.

Я пошелъ за гробомъ, разговорился со старухою и узналъ, что умершій былъ ея постоялецъ; что онъ во время болѣзни даже продалъ все свое платье; что умеръ не оставилъ ничего, кроме свертка бумагъ. „И умеръ надъ ними голубчикъ! За нихъ если дастъ лавочникъ пятакъ—и то спасибо,“ прибавила старуха.

Вы догадываетесь, что я купилъ у старухи бумаги; она на другой день принесла мнѣ ихъ. Это былъ повседневный журналъ; между листами его лежали письма; каждое пришло къ тому дню записокъ, въ который было получено; все это вмѣстѣ составило родъ простой повѣсти, и я рѣшился ее напечатать, не измѣня ни одного слова.

183... года 20 июня.

Экзаменъ оконченъ сегодня—и я вступаю въ новую жизнь... Миръ праху твоему, добрый человѣкъ, основатель лицея! Благословляю память твою!...

Давно ли я былъ еще ребенокъ? Какъ сегодня, помню день моего отъѣзда въ лицей. Я на своей маленькой лошадкѣ хотѣлъ щхать гулять въ степь; меня позвалъ папенька.

— Послушай,—сказалъ онъ мнѣ:—собери свои книги; мы сегодня пойдемъ далеко: я тебя отдамъ учиться въ лицей.

— А это очень далеко?—спросилъ я.

— Верстъ полтораста.

— Такъ мы завтра не воротимся?

— Нѣтъ; ты проживешь тамъ долго.

— Больше недѣли?

— Гораздо.

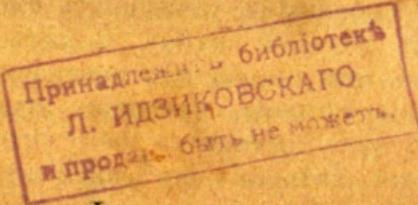
— Мѣсяцъ?

— Больше.

— Не-уже-ли годъ?

— Шесть лѣтъ.

Меня обдало холодомъ. Щхать въ такую даль, за 150



верстъ отъ дома, па шесть лѣтъ простились съ папенькою, съ маменькою, съ мою маленькою комнатой, съ бѣлою акаціей, которую я поливалъ каждое утро, а она, какъ нарочно, такъ душисто расцвѣла теперь!..

Грустно стало мнѣ; я вышелъ на крыльцо; моя лошадка, увидѣвъ меня, привѣтно заржала; я подошелъ къ ней, машинально сѣлъ на нее и шагомъ выѣхалъ въ поле.

Нивы шумѣли отъ утренняго вѣтерка, росистая степь пестрѣла въ цвѣтахъ, жаворонки пѣли; но ничто меня не радовало. Я не спѣшилъ нарывать букетъ анемоновъ, не старался поймать красивую бабочку, чтобы подарить ее маменькѣ—одна мысль тяготила меня: я долженъ все это оставить, оставить надолго!... Какъ хороша воля! подумалъ я и еоскочилъ съ лошади. „Прощай, лошадка, сказалъ я: ступай на волю!“ поласкалъ ее и бросиль повода. Лошадка стояла предо мною. „Глупенъкая, ты будешь гулять!“ Я обнялъ ее и махнулъ руками. Черезъ минуту, только ея головка далеко ныряла между цвѣтистою зеленью; еще минута, и я уже не видѣлъ ничего: все зарадужилось, закружилось въ глазахъ моихъ, наполненныхъ слезами.

Послѣ обѣда мы съ папенькой выѣхали изъ дома. Прощаясь, маменька уговаривала меня не грустить, обѣщала прїѣхать ко мнѣ, дала мнѣ коробочку конфектъ—и я уѣхалъ.

И вотъ я въ лицѣ. Меня ввели и оставили въ этомъ огромномъ зданіи. Все незнакомыя лица, все такія страшныя, классическія физіономіи профессоровъ, всетакъ сухо, такъ важно! Папенька уѣхалъ.

Я подошелъ къ окошку; оно было въ третьемъ этажѣ; внизу краснѣли крыши одноэтажныхъ домиковъ; далѣе, стройно вытянулась улица, за нею стояла березовая роща, а тамъ—Боже мой! гладкое поле; на немъ змѣилась дорога на мою родину!... По дорогѣ неслось облако пыли; мнѣ казалось, что я вижу въ немъ нашу коляску, даже казалось, что папенька машетъ мнѣ изъ коляски платкомъ; но вотъ

и это облако слилось съ горизонтомъ.... и стоять и тихо плакать. Тутъ подошелъ ко мнѣ Ш.; онъ такъ мило заговорилъ со мною, такое принялъ участіе въ моей печали, что мы съ того дня сдѣлались друзьями.

Милый Ш.! Мнѣ теперь смѣшно, когда вспомню, какъ онъ утѣшалъ меня. Онъ говорилъ, что лицей непремѣнно долженъ сгорѣть, потому-что въ немъ много несчастныхъ, подобныхъ намъ; а когда онъ сгоритъ, то мы опять пойдемъ по домамъ. И какъ эта глупая мысль восхищала меня! Я цѣлый мѣсяцъ ложился спать, напередъ хорошенъко увязавъ всѣ свои книги и платье, чтобы сейчасъ же бѣжать, когда начнется пожаръ. Вся кровь, бывало, бросится въ голову, когда услышишь запахъ дыма, или кто пройдетъ ночью по коридору со свѣчкою: все ждешь, вотъ загорится, вотъ будетъ тревога, вотъ разольется огонь по комнатамъ... Но угрюмо дремали во мракѣ каменные стѣны огромнаго зданія; изрѣдка гдѣ нибудь хлопнетъ незатворенное окошко, или въ дальнемъ коридорѣ простонутъ тяжелые шаги старого инвалида, и опять все тихо, тихо... такъ и захочется спать.

Но вотъ, сегодня шесть лѣтъ, какъ я здѣсь: завтра день выпускса. И сколько перемѣнъ съ того времени!... Наука открыла передо мною свои святые сокровищницы; мой умъ смѣло ширяется въ тучахъ и разлагаетъ громы и молніи; я дерзаю вычислять пути свѣтиль небесныхъ; наука увлекаетъ меня на дно моря и показываетъ жемчугъ и подводные чудовища, сводить въ недра земли, гдѣ ~~роютъ~~ жили золота и зреютъ драгоценныя камни; она рассказала мнѣ судьбы народовъ, и дѣла давно минувшія переходятъ въ умъ моемъ яркою фантасмагоріей; я изучаю природу, изучаю человѣка, самого себя, и люблю Творца, какъ благодѣтеля моего, люблю по убѣженію.

А поэзія? Боже! и есть люди, которые не понимаютъ поэзіи!.. Бѣдные, жалѣю о васъ: вы не знаете лучшаго наслажденія въ жизни! вы не понимаете ни Жуковскаго, ни Шиллера, ни Байрона, ни Пушкина, великаго Пушкина!

Вы произносите эти имена, какъ имя славнаго портного, парикмахера—и ваше сердце не трепещетъ сладкимъ восторгомъ! Жалкіе! плачьте о вашемъ невѣжествѣ и дивитесь этимъ именамъ, какъ проявленію неба на землѣ... Шесть лѣтъ—и какъ я выросъ духовною жизнью!

Я долженъ сказать прости моимъ милямъ товарищамъ, съ которыми я росъ вмѣстѣ, съ которыми дѣлилъ и радость и горе, съ которыми не разъ тепло молился передъ святымъ алтаремъ; я долженъ сказать имъ прости. Долгъ чести зоветъ меня: я долженъ служить отечеству. Сколько разъ я завидовалъ мудрымъ Сципионамъ, Фабриціямъ, Аристотелемъ... И вотъ передо мною широкое поле жизни, поле чистое. Какой разгуль для дѣятельности! Впередъ! какое раздолье быть полезнымъ ближнему.... Мой девизъ: презирать все низкое, любить одно возвышенное.... Я.... увидимъ, что я сдѣлаю!...

27 июня.

Вотъ я опять въ нашей маленькой деревнѣ. Свободенъ, какъ Божія птица. И Кантъ, и Юстиніанъ, и несносный Лакруа забыты до времени.

28 июня.

Чудная юзнь въ Малороссіи лѣтомъ! Вчера я пріѣхалъ домой; отецъ обнялъ меня и поздравилъ человѣкомъ; мать заплакала; сбѣжались братья, поднялся шумъ, хоть—такъ прошелъ цѣлый день. Сегодня мнѣ отвели квартиру, какъ говорить батюшка, въ саду, въ бесѣдкѣ. Эта бесѣдка утонула въ зелени деревьевъ; передъ моими окнами цвѣтутъ цѣлые пирамиды душистаго горошка, стройно колеблются разноцвѣтныя мальвы, а розы, полныя, пышныя розы, тянутся густою гирляндою вдоль по сторонамъ темнозеленой аллеи. Если-бъ живописецъ могъ нарисовать такую картину, онъ умеръ бы отъ восторга.

29 июня.

Сегодня день моего ангела. Я проснулся рано поутру.

Въ головахъ у меня стояла огромная ваза только-что расцвѣтшихъ розъ. Человѣкъ сказалъ мнѣ, что съ восходомъ солнца моя маменька сама поставила эти розы и ушла тихонько, перекрестивъ меня.... Какъ я сладко сегодня молился Богу; эти розы курились чистымъ 旑иміамъ къ Его престолу! Есть минуты въ жизни, которыми выкупаются всѣ страданія человѣчества.

Люди! понимаете ли вы, что такое мать? понимаете ли вы это страдательное существо, эту вѣчную, безграничную безкорыстную любовь? Мужчины, благоговѣйте передъ матерью: это алтарь, на которомъ неугасимо горитъ любовь къ человѣчеству, можетъ-быть, одна любовь въ мірѣ безъ холоднаго эгоизма.

У насъ были гости: человѣкъ четыре сосѣдя, все люди отставные съ мундиромъ. Цѣлый почти день разсказывали о разныхъ случаяхъ войны; мой отецъ говорилъ о взятіи Очакова такъ подробно, какъ-будто вчера только его брали. Тутъ были свидѣтели и семилѣтней войны и войны отечественной. Какая поэтическая жизнь военного человѣка! Сегодня здѣсь, завтра тамъ, послѣ въ третьемъ мѣсяцѣ; вездѣ новыя лица, новыя знакомства, прелесть отдыха, грусть разлуки — все это должно тревожить сердце, возбуждать духъ къ дѣятельности. А это глубокое самоотверженіе, эта всегдашняя готовность пожертвовать для блага общаго самымъ драгоцѣннымъ для человѣка — жизнью, не возносить ли это меня самого въ глазахъ моихъ? Какъ понятна благородная гордость рыцарей, надѣявшихъ мечь! Нѣть, я непремѣнно посвящу себя войнѣ; я буду кавалеристомъ; мои предки жили и умирали на коняхъ; я послѣднюю ихъ примѣру.

1 июля.

У насъ есть два сосѣда, статскіе; одинъ Шука-Окуневскій, говорить, удивительный вѣствщикъ и любить говорить свысока, а другой Сутяговскій; обѣ этомъ отзываются какъ объ умномъ человѣкѣ. Они оба вышли въ от-

ставку и пріѣхали изъ губернского города въ уѣздъ, въ свои деревни, когда я былъ въ лицѣ.

14 июля.

Я очень не люблю нашего сосѣда Сутяговскаго, хотя онъ и пользуется какого-то особеннаго рода уваженiemъ всего уѣзда: всѣ за-глаза его ругаютъ, а въ глаза какъ будто его боятся; даже видъ Сутяговскаго мнѣ не нравится: высокій мужчина, вѣчно наклоненный впередъ; на лбу всегдашняя дума о чёмъ-то недоброму; голосъ—хриплый басъ, похожій на ворчаніе бульдога; глаза постоянно опущенные внизъ; о чёмъ бы не говорилъ онъ, съ кѣмъ бы ни говорилъ, они всегда устремлены на одно мѣсто, на полъ. Мнѣ кажется, онъ долженъ быть большой грѣшникъ и боится поднять глаза, чтобы не увидѣть надъ собою карающей десницы правосудія. Важность, съ какою онъ входитъ въ комнату, какъ поправляетъ медленно на шеѣ орденскую ленту, какъ прикидывается простакомъ, чтобы больше еще выказать свою ученость, которая, entre nous soit dit, не слишкомъ глубока—все это нестерпимо. Куда бы ни пріѣхалъ онъ, всѣхъ перецѣлуетъ, начиная съ хозяина до послѣдняго гостя, хотя бы ему кто былъ и незнакомъ—ему все-равно; идетъ по-тихоньку вокругъ комнаты, схватить человѣка въ объятія, поцѣлуется разъ, два, три, заворчить какую-то любезность или заклинаніе—кто его разберетъ!—и принимается за другого, пока всѣхъ обойдетъ... Да это такъ важно, будто онъ Богъ-знаетъ какая знаменитость, и не хочетъ никого обидѣть, лишивъ частички своей высокой ласки.

Я недавно видѣлъ, какъ въ сѣти паука попалась муха: въ одну секунду паукъ былъ уже возлѣ своей жертвы, схватилъ ее, прижалъ къ своей груди и долго обнималъ ее двумя передними лапками, опутывая роковой паутиной: потомъ прокусилъ бѣдной мухѣ голову, выпилъ изъ нея кровь и преспокойно возвратился въ свою засаду, какъ ни въ чёмъ не бывалъ, только потолстѣлъ немножко. Съ этихъ

поръ я не могу равнодушно смотрѣть на Сутяговскаго: когда онъ обнимаетъ человѣка, мнѣ все кажется: вотъ запищить бѣдный страдалецъ, вотъ сосѣдъ прокусить ему голову....

Сутяговскій тоже меня не очень жалуетъ: то экзаменуетъ меня и чрезвычайно важничаетъ, когда я, чтобы не оторвать батюшку, отвѣчаю ему, какъ профессору; то береть на себѣ трудъ дѣлать мнѣ наставлениія, поѣтъ съ бемольнаго тона о нравственности, какъ пресвитеріанецъ временъ Кромвеля. Несмотря на все это, въ немъ сильно отзыается духъ прошедшаго XVIII вѣка, неслишкомъ нравственнаго.

Какую онъ состроилъ сердитую рожу, когда я сказалъ, что не считаю Вольтера великимъ поэтомъ! Онъ готовъ былъ скушать меня, какъ паукъ муху, проворчалъ себѣ подъ-носъ, вѣроятно, какую-нибудь глупость, и, сразу перемѣнивъ разговоръ, началъ проповѣдывать о чести, обязанности всякаго дворянинна служить отечеству, о томъ, что молодому человѣку гораздо приличнѣе служить даже въ городской ратушѣ, нежели заниматься пустыми мечтами, ведущими аѣ растлѣнію нравовъ; что встарину такъ не было; оттого было болѣе и учтивства, и уточненной вѣжливости, и приличнаго всякому обращенія.... Я вышелъ изъ комнаты, и возвратился, увида, что Сутяговскій уѣхалъ.

Несносный человѣкъ.

15 июля.

Скоро будетъ въ Рѣ ярмарка; весь нашъ уѣздъ приходитъ въ движение; только и толкуютъ о ярмаркѣ; чрезъ недѣлю половина нашего народонаселенія двинется въ Рѣ.

Батюшка тоже хочетъѣхать и меня береть съ собою. Я скучалъ бы этою поѣздкой, если-бѣ не надѣялся увидѣться съ III., съ моимъ милымъ товарищемъ.

19 июля, полдень.

Мы въ дорогѣ. Скоро я увижу доброго III. Онъ живеть въ томъ уѣздѣ, гдѣ будетъ ярмарка. Какъ пріятно будетъ

наше неожиданное свиданіе! Я желалъ бы перелетѣть въ Р\*. Но мы ѿдемъ на своихъ лошадяхъ, сдѣлали упряжку 30 верстъ, и, говорятъ, надобно отдохнуть лошадямъ, по-кормить ихъ. На постоянныхъ дворахъ останавливаются теперь нѣтъ никакой возможности: тамъ жарко, миллионы мухъ, а всякаго народу еще больше; шумъ, крикъ—несносно! Мы выѣхали изъ селенія и сейчасъ же остановились въ тѣнистой дубовой рощѣ, которая отъ дороги спускалась по отлогой горѣ до свѣтлой, быстрой рѣчки.

Пока лошади ѿдятъ овесь, а поваръ, разведя въ сторонѣ огонь, хлопочетъ около обѣда, мы вышли изъ коляски и усѣлись въ тѣни на раскинутомъ коврѣ. Батюшка читаетъ „Московскія Вѣдомости“, я пишу отъ нечего дѣлать. Ба! къ намъ еще подѣзжаетъ экипажъ.... останавливается... Господи! да это Сутяговскій; его лошадей отпригаютъ; онъ уже идетъ сюда, и я часа два долженъ буду слушать его широковѣщательныя пошлости.... Нѣтъ, прощайте.

Вечеромъ.

Въ первый разъ въ жизни я благодаренъ Сутяговскому: чтобы избавиться его присутствія, я взялъ ружье и пошелъ къ рѣкѣ, будто на охоту, велѣвъ извѣстить меня, когда лошади будутъ готовы. По берегу рѣки шла узенькая проселочная дорога; въ двухъ шагахъ отъ дорожки стояла распряженная кибитка, поднявъ къ небу оглобли; на оглобляхъ было натянуто полотно, изъ котораго тройка гнѣдыхъ лошадей кушала овесь; двое мальчиковъ, лѣтъ около десяти или двѣнадцати, подбирали на берегу раковины и цвѣтные камешки; недалеко отъ берега, на песчаной отмели, сидѣлъ въ водѣ пожилой человѣкъ, выставивъ изъ воды свою усатую голову, покрытую кожаннымъ треугольнымъ картузомъ; голова весело разговаривала съ дѣтьми:

— Батюшка, бросьте намъ еще раковинъ.

— Ладно!—отвѣчала голова:— я вамъ достану самыхъ пестрыхъ, и отодвинулась еще далѣе отъ берега....

— Гдѣ же раковины?—кричали дѣти.

— Господи! что это?! я ѿду въ пропасть... Ухъ!...— вскрикнула голова и исчезла подъ водою; треугольный картузъ быстро поплылъ по теченію.... Секунды черезъ три опять показалась голова, ухнула, и опять скрылась....

— Батюшка тонетъ!...—вопили дѣти:—онъ не умѣеть плавать.

Въ-минуту я былъ уже въ водѣ, схватилъ утопленника, кое-какъ вынесъ на берегъ, скоро привель его въ чувство и возвратился къ экипажу, душевно благодаря Сутяговскаго.

Я пришелъ весь мокрый. Сутяговскій, увидя меня, началъ басить моему отцу:—Да, я вамъ говорю, совсѣмъ не то время: все теряетъ свою цѣну; имъ тяжело послушать часть-другой опытнаго старика, лучше пойдутъ въ болото, убьютъ какую-нибудь пичужку—заряда не стоитъ! ни пуху, ни перьевъ, ни мяса, въ ротъ взять нечего; а зарядъ денегъ стоитъ, а платье и того болѣе, все перепачкаешь, изгадишь... Мы, бывало, у нашихъ стариковъ изволъ носить пестрадинное, холстинное, и прочее.... такъ нанковому платью и цѣну, бывало, знаешь: а суконное—если дождемся суконнаго—бывало, бережемъ какъ свою душу: коли черное, такъ черное, ни пятнышка бѣлаго не допустимъ; а теперь наряжаются въ будни какъ подъ вѣнецъ; различія нѣтъ между возрастами.... Право нехорошо!...

Батюшка крѣпко обнялъ меня, когда я рассказалъ ему свое приключеніе, а Сутяговскій началъ ворчать:

— Благородно, не спорю, да неразсудительно; онъ, вы говорите, толстъ и здоровъ, а вы молоды и малосильны; прими дѣло другой оборотъ—осиротили бы своихъ родителей, а пользы никакой....

Тутъ Сутяговскій началъ поправлять на шеѣ свою орденскую ленту, а мы уѣхали.

21 июля.

Любопытно знать, какимъ способомъ распространяются новости въ уѣздныхъ городахъ? Этотъ вопросъ для меня

занимательнѣе вопроса о Востокѣ. Самые быстрые телеграфы, электрическіе, гальваническіе — какіе вамъ угодно, ничто передъ быстротою уѣздныхъ вѣстей. Положимъ, вы спали одни въ комнатѣ, никого не было даже въ сосѣднихъ покояхъ, и въ продолженіе ночи раза два кашлянули; поутру, вы не успѣли выйти на крыльцо, вамъ мимоходомъ кланяется Борисъ Ивановичъ и спрашиваетъ:

— Каковъ вашъ кашель? легче ли вамъ?

— Да кто вамъ сказалъ, что у меня кашель?

— Полно скрываться! весь свѣтъ это знаетъ; я заходилъ въ аптеку, тамъ уже часа полтора для васъ катаются пилюли.

— Ахъ они проклятые! кто ихъ просилъ?

— Именно проклятые пилюли, хоть и изготавляются по рецепту патентованного медика Лейбы Францовича. Лучше, я вамъ совсѣмъ, напиться огуречнаго разсолу — испытанное средство.

— Много благодаренъ!

— Не за чтѣ! Да, еще Александра Ивановна, проѣздомъ въ чужой уѣздъ, остановила меня на рынке и говорить: «Скажите (тутъ она упомянула ваше имя и отчество) чтобъ поберегся, да пиль липовый цвѣтъ съ патокой!» — До свиданія! берегитесь. Охъ, перенесъ и я въ прошломъ году кашель!

Да, чудная вещь! пока вы спали, духъ сплетень незримо прокрался въ вашу спальню, подслушалъ вашъ кашель и вынесъ его на свѣтъ Божій; вы спите, а за васъ уже не дремлютъ близкіе; катаютъ на вашъ счетъ пилюли; докторъ записалъ васъ въ свою приходную книгу; не только Борисъ Ивановичъ, но даже и Александра Ивановна уже знаетъ о вашемъ кашлѣ и,смотрите, черезъ недѣлю изъ чужого уѣзда пріѣдутъ дальніе родственники спорить о вашемъ наслѣдствѣ, а вы еще и не думали умирать. — Непонятная вещь!

Если-бъ я былъ англичаниномъ, непремѣнно назначилъ бы огромную премію тому, кто вычислитъ съ математи-

ческой точностью быстроту провинциальныхъ сплетней.

Первое знакомое лицо, которое попалось мнѣ на встречу въ Р\*, былъ мой милый Ш.; онъ обнялъ меня и поздравилъ съ добрымъ дѣломъ. Боже мой! ужь и здѣсь все знаютъ о томъ, что я вытащилъ изъ воды человѣка. Мы пошли съ батюшкою въ ряды; народу было множество; все разспрашиваютъ меня объ утопленникѣ, осыпаютъ меня нелѣпыми похвалами; они уже успѣли узнать, что человѣкъ, спасенный мною, называется Ивановымъ, что онъ богатый мѣщанинъ нашего города, перекрещенецъ изъ живодѣй и т. п. Знакомые указывали на меня пальцами людямъ незнакомымъ.

Не-уже-ли самое высокое чувство должно отравляться глупостью? Не-уже-ли святая минута восторга, которую я испыталъ, спасая жизнь ближняго, должна выкупиться оскорбительными часами безтолковаго удивленія праздной толпы, которая черезъ часть еще съ большимъ вниманіемъ ста; нетъ смотрѣть на канатнаго плюсунна, удивляться его прыжкамъ, и становить толковать о немъ отъ нечего дѣлать. Да и что тутъ необыкновенное—вытащить изъ воды утопающаго человѣка? Не-уже-ли кто-нибудь изъ этихъ господъ могъ бы спокойно смотрѣть на гибнущаго собрата и не подать ему помощи?

22 июля.

И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечомъ  
И сердце трепетное вынуль,  
И угль, пылающій огнемъ,  
Во грудь отверстую водвинуль!...

Да, угль, пылающій огнемъ, пламенѣть въ груди моей. Чудные вопросы роятся въ умѣ моемъ: и что со мною? и что я? и для чего я? и что такое жизнь наша?... Одинъ известный римскій писатель задалъ себѣ остроумный вопросъ: *Quid est nostra vita?* (что такое наша жизнь)? и самъ же отвѣчаетъ: *est forum in quo vendit et emitur* (рынокъ, на которомъ продаются и покупаются).

Господи! какой прозаической отвѣтъ; рынокъ, гдѣ прода-

ють и покупаютъ!!! Какъ это отзывается вѣкомъ паденія великаго царства, вѣкомъ, въ который изнѣженные потомки доблестныхъ, безкорыстныхъ римлянъ съ разсвѣтомъ дня выходили за ворота своихъ великолѣпныхъ домовъ, съ вѣсками въ рукахъ, и отдавали проходящимъ вѣростъ золото!!! Нѣтъ, въ жизни есть цѣль выше торгащества...

Какъ хороша сестрица Ш.! Сегодня меня Ш. звалъ къ себѣ обѣдать; я немного опоздалъ. Вхожу въ переднюю— никого нѣтъ; въ сосѣдней комнатѣ обѣдаются, стучать тарелками, весело разговариваютъ... „Я его люблю,“ говорилъ изнѣжный, почти дѣтскій голосъ: „за его благородный поступокъ и желала бы видѣть...“ Отворя дверь, я прервала начатую фразу.

— Легокъ на поминъ!— закричалъ Ш.:— а мы думали, что ты измѣнишь, и сейчасъ только о тебѣ говорили. Рекомендую: это мои братья и сестры, а вотъ эта мечтательница— полно краснѣть!— сю минуту публично призналась, что тебя любить.

Меньшая сестра Ш., о которой онъ говорилъ, наклонилась къ тарелкѣ; густые, темные локоны почти закрывали все лицо ея, только по ярко-розовымъ ушкамъ можно было заключить о пожарѣ, который вспыхнулъ на лицѣ ея отъ словъ брата.

Но долго ли продолжается смущеніе женщины?

Чрезъ нѣсколько секундъ она оправилась, подняла голову, рѣзво раскинула рукою кудри, улыбаясь, посмотрѣла на меня— и, Боже мой, какой отрадный, утѣшительный ея взоръ!!! Я весь затрепеталъ отъ этого взора.. затрепеталъ отъ полноты восторга, какъ трепещетъ прозрѣвшій слѣпецъ, первые увида міръ Божій, какъ изгнаниникъ, услыша пѣсню далекой родины.

Ея лицо мнѣ знакомо: я гдѣ-то видѣлъ его, и видѣлъ не разъ, если не на яву, такъ во снѣ; въ немъ много родного, близкаго моему сердцу; я гдѣ-то слышалъ ея рѣчи, эту чудесную музыку голоса человѣческаго; она мнѣ напомнила лучшія мѣста безсмертныхъ созданій Бетховена и Мо-

но таинственнаго пѣснѣнія

царта: въ нихъ отзыается ея рѣчами,—только отзыается, и оттого эти созданія такъ хороши! А тутъ сами ея упомѣтные звуки!... Мнѣ было невыразимо хорошо, невыразимо весело у Ш. Послѣ обѣда я остался пить чай и сидѣлъ у нихъ весь вечеръ.

Пришелъ домой и вдругъ на меня нашла невыносимая тоска. Я легъ въ постель—жарко; отворилъ окно въ садъ—въ саду пѣлъ соловей; у самого окна цвѣлъ душистый кустъ фіалокъ... Не знаю, почему фіалки мнѣ напомнили е е, въ звукахъ соловья было сходство съ ея голосомъ... какая-то гармонія, успокаивающая душу.

Пой соловей, пока ты свободенъ; быть можетъ, завтра сѣти человѣка опутаютъ тебя, и въ тѣсной клѣткѣ ты станешь повторять свои вдохновенные пѣсни! Можетъ быть, завтра и эти фіалки, сорванные жадною рукою, очутятся въ богатой фарфоровой вазѣ и, оторванные отъ родного корня, станутъ разливать предсмертное благоуханіе въ покояхъ богатаго. Можетъ быть и она—чудесное созданіе... Но нѣтъ, неужели какой нибудь эгоистъ завладѣть этимъ сокровищемъ!... Господи! и откуда такія черныя мысли? отчего эта душевная тревога? Давно уже соловей умолкъ, дремля около своей подруги, счастливецъ!... давно уже полночь; луна зажглась, все спитъ.... а ко мнѣ не слетаетъ сонъ-утѣшитель...

23 июля.

Сегодня я опять видѣлъ ее, слушалъ ее—словомъ, былъ счастливъ цѣлый день. Странное чувство овладѣло мною: отчего, когда подхожу къ ней, въ груди у меня что-то трепещетъ, будто пойманная птичка въ рукахъ охотника? хочу говорить—голосъ прерывается, а между тѣмъ я вездѣ найду ее по какому-то странному инстинкту: въ рядахъ, между сотнею соломенныхъ шляпокъ съ розанами, и безошибочно узнаю ея шляпку, такую же соломенную, съ такими же розанами, какъ и другія—отчего это?

Не-уже-ли это любовь? не-уже-ли меня постыдило это неразгаданное, таинственное, святое чувство, чувство возвыша-

ющее человѣка до невозможности, сила, хранящая весь міръ, альфа и омега благости Провидѣнія, сила, которая заставляетъ бездушный цвѣтокъ трепетать и склоняться къ другому, сдвигаетъ противоположные полюсы твердаго магнита, проявляется въ притягаемости разнороднаго электричества, влечеть тучи небесныя къ землѣ и соединяетъ небо съ землею огненными нитями молніи; краеугольный камень нашей божественной религіи: „любите и враговъ вашихъ!“ сказалъ Богъ устами человѣка...

Да, это ты, любовь! это ты, желанная гостья! Я скрою тебя какъ драгоценность. Пусть теплится во мнѣ тихое, беспредѣльное чувство, я никому не скажу о немъ—ни другу, ни брату: они, можетъ быть, улыбнутся, слушая меня, а и этого довольно, чтобы возмутить непорочное чувство. Я не скажу ей: боюсь оскорбить ее; даже бумага не стану передавать всѣхъ сокровенныхъ помысловъ души моей... Теперь я понимаю глубину стиховъ Пушкина:

Пью за здравіе <sup>Лиды</sup> Мери,  
Милой Мери моей.  
Тихо заперъ я двери,  
И одинъ безъ гостей,  
Пью за здравіе Мери.

Принаследжитъ библіотекѣ  
Л. ИДЗИКОВСКАГО  
и продана бытъ не можетъ.

Человѣкъ истинно любящій не станетъ хвалиться любовью своею, не станетъ пить ея здоровье въ кругу товарищей, чтобы не слышать любимаго имени, произнесеннаго нечистыми устами, чтобы не подать повода никому даже думать о ней; иѣтъ, онъ одинъ, въ тишинѣ, какъ древній жрецъ, совершающій жертву своему идолу; онъ пьетъ ея здоровье отъ полноты души передъ Свидѣтелемъ, которому известны всѣ тайные помыслы человѣка; я даже никогда не рѣшусь написать имя ея... Кто знаетъ будущее? можетъ быть, чей нибудь взоръ оскорбится, читая это имя. Оно всегда въ душѣ моей.

16 авгуаста.

Вотъ уже и лѣто приходитъ къ концу: вездѣ жатва, вездѣ видно довольство—чудное время! Съ дѣствомъ я лю-

былъ тихую семейную жизнь; и по цѣлымъ часамъ смотрѣлъ на картинки прошедшаго вѣка, подписанныя *les douceurs de l'automne*; тамъ, въ саду, передъ дверью дома съ навѣсомъ, сидить за столомъ счастливое семейство; полныя кружки стоять на столѣ, два три старика, разговаривая, курятъ трубки; прелестный ребенокъ играеть на колѣняхъ матери; хорошенъкая круголицая дѣвушка срываетъ съ дерева яблоки, а молодой человѣкъ поддерживаетъ ее такъ лукаво... Она покраснѣла, какъ яблоко, которое держитъ въ одной руцѣ, а другою бьетъ по рукамъ дерзкаго шалуна; но это наказаніе сопровождается такою милой улыбкою, что самъ желаешь быть вѣчно наказаннымъ. Далѣе, видны винограндники; въ нихъ кипить веселая работа: кто обрѣзываетъ зрѣлые грозды, кто несетъ полную корзину плодовъ, другіе складываютъ виноградъ въ деревянные чаны; какой-то проказникъ опрокинулъ пустой чанъ на бокъ, усыпалъ въ немъ, какъ въ будкѣ, и смѣется; въ стороны двѣ дѣвушки хохочутъ и бросаютъ въ него виноградомъ.

Такъ, бывало, легко и весело, когда смотришь на подобную картину, забываешь, что эти поселяне ни дать ни взять маркизы мужскаго и женскаго пола вѣка Людовика XIV, что они въ парикахъ, фижмахъ, въ розовыхъ бантікахъ, какъ фарфоровыя статуйки, полученные въ наслѣдство отъ покойнаго дѣдушки—все забываешь, глядя на картину тихаго счастья....

У нась поля покрылись, какъ войскомъ, безконечными рядами копенъ хлѣба. Я всякий день хожу любоваться на полевыя работы. Поселяне весело жнутъ и ожидаютъ съ восторгомъ праздника обжинковъ; говорять, онъ скоро будетъ.

20 августа.

Никогда Малороссія не была для меня такъ хороша, какъ теперь. Царь потребовалъ отъ нея казачьихъ полковъ — и вдругъ все запевелилось; цѣлые села готовы вооружиться, чтобы исполнить желаніе своего государя. Гдѣ нужно взять

пятьдесятъ человѣкъ рядовыхъ казаковъ, тамъ является сто охотниковъ; восемь полковъ выступили весною; теперь набираютъ резервы.

На-дняхъ въ уѣздномъ городѣ будетъ дворянское собраніе для выбора офицеровъ. Я имѣю ученую степень—она тоже офицерскій чинъ; попрошу согласія батюшки и матушки и пойду служить. Теперь война; сколько случаевъ быть полезнымъ отечеству! сколько случаевъ отличиться, сдѣлать добро!...

Одного я боюсь: если простой народъ, бросая свои мирные занятія, стекается толпами подъ знамена, которыхъ далеко шумѣли громкою славою при ихъ предкахъ, стекается толпами, болѣе многочисленными, нежели нужно, то что будетъ въ дворянскомъ собраніи, куда явятся люди образованные? а у насъ осталось еще довольно дворянъ служившихъ въ военной службѣ: имъ отадутъ преимущество—тогда прощай мое желаніе, моя охота!

Я сказалъ батюшкѣ о своемъ желаніи служить въ казакахъ; онъ согласенъ. Мы завтраѣдемъ на выборы.

21 августа.

Итакъ, я офицеръ... го малороссійскаго казачьяго полка. Сомнѣнія мои были напрасны.... Маршалъ нашего уѣзда сидѣлъ уже въ собраніи, когда я вошелъ туда. Дворянъ было очень довольно, чтобы набрать офицеровъ на два полка; а тутъ шло дѣло о избраніи одного оберъ-офицера. Сутяговскій, пользуясь штабъ-офицерскимъ чиномъ и старостью, преважно расхаживалъ и басилъ о пользѣ и важности выборовъ: „Если-бѣ мнѣ не подагра, я не посмогрѣль бы на свою сѣдину — на коня и въ поле: все-таки придушилъ бы кого-нибудь; жена сама управилась бы съ картофелемъ, а винокурню въ аренду перекресту Иванову—человѣкъ хороший, честный; это былъ бы второй я....“

Почтенный старишокъ-маршалъ почти дремалъ въ спокойномъ креслѣ; подлѣ него стоялъ письмоводитель, тощий, испитой человѣкъ съ головкою, загнутою напередъ въ-родѣ

крючка; вообще онъ былъ очень похожъ на цвѣточный стебелекъ, убитый морозомъ. Письмоводитель принесъ списокъ; началось избрание. Я съ удовольствиемъ замѣтилъ, что большая часть дворянъ, находившихся въ собраніи, были то коллежскіе асессоры, то майоры, то подполковники, то надворные совѣтники, а требовался оберъ-офицеръ; наконецъ дошло до мелкихъ чиновниковъ.

.....

Мой аттестатель былъ прочитанъ и я провозглашенъ вазачимъ офицеромъ, ко всеобщей радости собранія. Маршаль всталъ съ кресла, дверь въ соседнюю комнату отворилась, и всѣ отправились завтракать, или, по словамъ маршала перекусить послѣ трудовъ. Чрезъ недѣлю будутъ готовы лошади, и мы выступаемъ въ походъ.

22 августа.

Обычаи старины всегда для меня священны: въ нихъ отзывается патріархальная простота нашихъ предковъ. И нѣть, по-моему, лучше обычая и веселья праздника обжинковъ. Когдѣ совершенно кончится жатва, поселяне и поселянки сплетаются изъ хлѣбныхъ колосьевъ вѣнокъ, украшаютъ его цвѣтами и ягодами, выбираютъ изъ среды себя дѣвушку, лучшую по красотѣ душевной и тѣлесной, вѣняютъ ее этимъ золотымъ вѣнкомъ и съ пѣснями, нарочно сочиненными по случаю праздника, идутъ веселою толпою поздравлять помѣщика съ окончаніемъ полевыхъ работъ.

Еще съ утра батюшка увѣдомилъ близкихъ сосѣдей о празднике. Къ обѣду пріѣхало нѣсколько человѣкъ гостей.

Стало вечерѣть; длинныя тѣни отъ нашего сада вытянулись по двору; верхи пирамидальныхъ тополей; бѣлыя трубы дома и крылья далекой вѣтряной мельницы вспыхнули красноватымъ цвѣтомъ; въ воздухѣ стало свѣжѣе, и вотъ далеко въ степи послышались пѣсни; звонко неслась они съ широкой степи, все ближе, громче и громче, и, наконецъ, огласили весь дворъ. Разнохарактерная дворня вы-

сыпала со всѣхъ угловъ смотрѣть на веселыхъ поселянъ, которые довольно тихо шли подъ пѣсню. Впереди, окруженная старѣйшинами села, шла, потупя въ землю глазки, царица праздника, премиленькая, быстрая брюнетка; на ней былъ вѣнокъ изъ золотистыхъ колосьевъ ржи, перевитыхъ, словно кораллами, пунсовыми гроздями калины, что очень шло къ ея смуглому лицу и чернымъ косамъ.

Мы вышли на крыльцо; дѣвушка подошла къ намъ, поклонилась въ-поясъ и, снявъ съ головы вѣнокъ, подала его батюшкѣ, а старики въ это время поздравляли съ окончаниемъ работъ; батюшка взялъ вѣнокъ, поцѣловавъ его, поцѣловалъ царицу праздника и, кланяясь, поблагодарилъ крестьянъ за ихъ лѣтніе труды. Пѣсни раздались громче прежняго... Мой отецъ стариkъ твердаго характера, но когда онъ положилъ вѣнокъ на столъ, свѣтлая слеза, какъ чистая росинка, засверкала, качаясь, на золотомъ колосѣ.

На дворѣ раставлены были столы и поселяне усѣлись кушать. Послѣ обѣда или ужина — не знаю какъ называть правильнѣе — у крестьянъ явилась скрипка; начались танцы. Мы пили чай въ залѣ: въ растворенные окна съ чистымъ вечернимъ воздухомъ долетали къ намъ веселыя пѣсни, хоть и быстрый, звонкій стукъ подковъ. Высоко уже взошла луна, когда разошлись пировавшіе; мало-по-малу пѣсни умолкали на селѣ; сосѣди поужинали и разъѣхались; послѣдняя удалилась бричка Петра Федоровича, стуча и дребезжа всѣми членами. Вотъ ея стукъ замеръ въ отдаленіи — вѣ спятъ, а мнѣ опять не спится... Странное дѣло! дѣвушка въ вѣнкѣ напомнила мнѣ ее; не то, чтобы она была похожа — нѣтъ, а такие же волосы, такого же цвета глаза, почти такой же ростъ — и этого довольно! вся кровь прилегла у меня къ сердцу. Не-уже-ли я ее не увижу? а дней чрезъ пять я долженъ уѣхать, и, можетъ-быть, навсегда.

24 августа.

Она здѣсь; да, здѣсь! Я не вѣрю глазамъ своимъ; я опять видѣлъ ее, опять слышалъ очаровательные звуки ея

голоса. Сегодня мы все сидѣли за круглымъ столомъ и пили чай; батюшка куриль трубку и рассказывалъ мнѣ, какъ военному человѣку, о взятіи Очакова, менѣше братья жались ко мнѣ отъ страха, слушая какъ турки, отъ нечего дѣлать, обрѣзывали своимъ плѣнникамъ носы и уши; матушка сквозь слезы посматривала на меня; сестра оканчивала кошелекъ мнѣ на дорогу; вдругъ къ крыльцу подъѣхала коляска и изъ нея вышелъ III. съ братомъ и сестрою. Я не помню, чтобы я когда-нибудь обнималъ III. такъ, какъ въ эту минуту. Семейство III. єдетъ къ одному своему родственнику, живущему въ нашемъ уѣздѣ, и мой добрый товарищъ очень кстати заѣхалъ увидѣться со мною. Узнавъ, что я скоро иду въ походъ, они согласились прожить у насъ до моего отѣзда.

27 августа.

Прошли три дни, какъ три минуты.... Она дивно-хороша!... А завтра день моего отѣзда... Ужъ все готово; мой быстрый черкесъ подкованъ, пистолеты вычищены, добрая тройка выкормлена; завтра прощай все, что мило и дорого сердцу! Кто знаетъ, что застану я, возвратясь на родину, и когда возвращусь? да и возвращусь ли?... Прочь, темные мысли! Скоро я обниму отца и матушку, покажу имъ георгіевскій крестъ... Она меня любить!... Сегодня мы гуляли по саду:

— Вы завтра уѣзжаете непремѣнно?—сказала она.

— Да,—грустно отвѣчалъ я.

Мы замолчали и прошли длинную аллею. Потомъ я началъ что-то говорить, самъ не понимая хорошенъко, что такое; тогда оно казалось очень умно и складно, а какъ припомни—выходитъ удивительная чепуха; она тоже говорила о постороннихъ вещахъ, но такимъ голосомъ, такой смыслъ выходилъ въ рѣчахъ ея, что я ободрился и подарила ей на память вѣточку полыни. Самъ не знаю, какъ я рѣшился на подобную дерзость; отдалъ вѣточку и сейчасъ же готовъ былъ отнять ее, готовъ былъ провалиться сквозь

землю, боялся поднять глаза, чтобъ не увидѣть, какъ моя вѣточка небрежно смятая, съ улыбкою будетъ брошена на землю и съ нею вмѣстѣ мое счастіе, покой, будущность. Я слыхалъ, что женщины всегда, улыбаясь, дѣлаютъ подобныя вещи.

Мы вчера читали „Селямъ“, роскошный языкъ цвѣтовъ, и еще III. очень смыялся, что полыни дано значеніе:

Твой образъ, забываясь сномъ,  
Съ послѣдней мыслію сливаю.

Но полынь не брошена; къ ней прибавлено два или три мелкіе цвѣточки — и этотъ букетъ былъ цѣлый день прикованъ къ ея груди.

Вечеромъ она подошла къ роскошному кусту цвѣтшихъ камелій, сорвала одинъ цвѣтокъ и робко отдала мнѣ на память. Я пришелъ въ свою комнату, схватилъ „Селямъ“, началъ быстро отыскивать камелію...

Передо мною мелькали: анемонъ, акаціи, барбарисъ, вѣтренница, василекъ, гвоздика и проч. и проч. Вотъ и камелія.... тутъ я прижалъ пышный цвѣтокъ къ губамъ своимъ — камелія: я люблю тебя. Я еще разъ прочелъ, не вѣря самъ себѣ.... точно напечатано: я люблю тебя! Я пишу, и камелія лежитъ передо мною; ея лепестки, кажется, вытягиваются ко мнѣ, кажется, шевелятся... кажется, шепчутъ: „я люблю тебя.“ Люблю! какое гармоническое слово! сколько мягкости и нѣги въ этомъ словѣ! какъ очаровательно должно быть оно въ устахъ ея! Если-бъ мнѣ удалось услышать отъ нея мелодическіе звуки этого слова!...

28 августа.

Сегодня я простился съ роднымъ домикомъ. Отслужили молебень, матушка надѣла мнѣ на шею образъ Спасителя, отецъ благословилъ меня саблею, съ которой онъ во времена Екатерины впереди своихъ храбрыхъ гусаръ врѣзывался въ турецкія колонны и казачествовалъ въ отечественную войну. Я обнялъ отца, матушку, братьевъ, сестеръ,

милаго Ш., поцѣловалъ гя ручку, которая, видимо, затрепетала въ моей рукѣ, и поскакалъ на тройкѣ. Я скоро догналъ казачій отрядъ, выступившій уже въ походъ.

1 сентября.

Третій день мы идемъ, и нашъ походъ очень похожъ на торжественное шествіе: вездѣ народъ встрѣчаетъ насъ съ восторгомъ; ненужно посыпать впередъ квартиргеровъ: старшины казачьихъ селъ, куда мы приходимъ на ночлегъ, на-перехватъ приглашаютъ казаковъ на квартиры, кормятъ ихъ, кормить лошадей, и ни за что не хотять брать ни гроша. Это пріятно, но утомительно; такой незаслуженный тріумфъ несносенъ: дѣло другое, если-бъ мы возвращались побѣдителями... Когда бы скорѣе попасть въ непріятельскую землю!

2 сентября.

Вѣчно мнѣ ничего на удается! Пришедши въ городъ П\*\*\*, я уже засталъ приказъ остановиться и дожидать дальнѣйшихъ распоряженій.

Очень весело стоять въ дрянномъ городкѣ, гдѣ даже нѣтъ порядочнаго трактира пообѣдать, а какая-то скверная харчевня! Для первого моего дебюта въ харчевнѣ ничего болѣе не отыскалось, кромѣ жареной курицы и половины поросенка, вѣроятно, заваленныхъ на медленномъ огнѣ въ средніе вѣка за еретичество. Эти кушанья представили въ лицахъ поговорку: „видить око, да зубъ пейметъ.“ Спросилъ чаю — мнѣ дали сбитню, и какая-то скверная рыжая борода; называвшая себя хозяиномъ харчевни, смеясь еще увѣрять, что это чай, и что почти всѣ семинаристы пьютъ его подъ этимъ названіемъ. А тутъ еще нѣтъ квартиръ! Это уже не казачье село, а городъ; здѣсь уже никакого толку не добьешься. Едва ночью показали квартиру, и я голодный легъ спать.

10 сентября.

Вотъ уже недѣля, какъ стоимъ въ П\*\*\*, а о походѣ и слуха нѣтъ. Тамъ люди получаютъ почести, отличія и

славные раны за отечество, а здѣсь изволь сидѣть да скучать. Городъ осмотрѣлъ въ два часа; раза три ходилъ къ Днѣпру: отъ воды сырьо; наступаетъ осень, погода дѣлается холоднѣе....

Вчера ко мнѣ явился мой хозяинъ, человѣкъ очень фантастическій, въ сѣрыхъ брюкахъ и въ синей венгерской курткѣ; его маленькая головка постепенно суживалась и, выдвигаясь впередъ, перешла въ большой красный носъ, отчего мой хозяинъ очень похожъ на птицу, называемую дубельшнепомъ; онъ улыбался, то-есть, приподнявъ немнога кверху носъ, оскаливъ зубы и, кланяясь, поставилъ на землю порядочной величины гробъ, который принесъ подъ мышкою.

— Что вамъ угодно?—спросилъ я.

— Ничего, милостивѣйший государь.—Я полагаю, вамъ должно быть скучно, и принесъ вамъ утѣшеніе.

„Хороша утѣха“ подумалъ я и сказалъ:

— Согласенъ, что это утѣшеніе для всякаго христіанина, но....

— Извините, милостивый государь, и до христіанства у іudeевъ это было въ большомъ употребленіи, какъ средство, разгоняющее темныя мысли.

— А иногда, я полагаю, нағоняющее....

— Извините, милостивый государь.

— По-крайней-мѣрѣ я бы просилъ васъ избавить меня отъ этого странного утѣшенія. Смотрѣть на гробъ, хотя онъ и выкрашенъ, какъ вашъ, для меня не очень пріятно.

— Хе-хе-хе! государь мой любезный! вы не поняли дѣла; оно еходственно, да совсѣмъ не то; это добrogласныя гусли.

Тутъ оцѣ поставилъ свой ящикъ на столъ, поднялъ крышку, и я засмѣялся своей ошибкѣ; это были точно гусли; мой хозяинъ попросилъ позволенія сыграть и забавлять меня цѣлый вечеръ.

4 октября.

Вотъ и мѣсяцъ, а о походѣ и слуха нѣть; война, гово-

рятъ, утихаешь. Не-уже-ли придется кончить службу, не выходя изъ П\*\*\*? Здѣсь умрешь со скуки. Жизни, однообразнѣе моей, и выдумать невозможно. Рано по-утру выслушаешь донесенія урядника, поѣдешь на конюшню: тамъ лошади ъедятъ овесь; монотонный звукъ отъ ихъ челюстей, жующихъ зерна, уже нагоняетъ скуку. Возвратясь домой, пьешь чай, долго пьешь—часа два, чтобы убить время; потомъ стрѣляешь въ цѣль изъ пистолетовъ, тамъ обѣдаешь; послѣ обѣда или свистишь, или, глядя въ окно, барабанишь по стекламъ пальцами, пока не настанетъ время отправиться на конюшню; на конюшнѣ по-старому слышишь, что „все обстоитъ благоподучно“, и лошади опять ъедятъ овесь. Пріѣдешь домой, напьешься чаю, поушишь часъ-другой собаку носить поноску, и спать пора. Завтра то же, то же и то же!...

Еще, пока было теплѣе, меня веселили какіе-то два ученика въ тиковыхъ халатахъ удивительнымъ дуэтомъ: у меня передъ окномъ растетъ пребольшая шелковица; каждый день, бывало, при солнечномъ закатѣ явились два ученыхъ существа, одно лѣтъ шестнадцати или семнадцати, а другое лѣтъ двѣнадцати. Старшій ученый усядется, бывало, въ полдерева верхомъ на толстомъ суку и, болтая ногами, звучнымъ баритономъ начинаетъ спрягать латинскій глаголъ а то, а меньшой взберется на самый верхъ шелковицы, совершенно укроется въ вѣтвяхъ—только и видишь изъ зелени одну торчащую книжку пъ красномъ переплетѣ—и самымъ пронзительнымъ дискантомъ распѣваешь какое-то греческое склоненіе. Да какъ припустятъ, бывало, вдвоемъ—истинная музыка! Ни одна баба не пройдетъ мимо двора, не остановясь минуты на двѣ, чтобы послушать иностранного пѣнія.

— Съ трудомъ дается наука, милостивѣйшій государь мой! всегда, бывало, скажеть мой хозяинъ, поглаживая красный носъ, когда услышитъ латино-греческій дуэтъ.— Смѣю вамъ доложить, что лучше-бъ согласился пахать землю, нежели пѣть подобнымъ образомъ по деревьямъ.

Теперь я лишился и этого удовольствия; осень оборвала почти все листья на деревья, вечера стали холодные и певцы скрылись неведомо куда. Хозяинъ и его гусли мнѣ стали противны: всякий день играетъ одно и то же; выпросилъ у меня стакана два пуншу, напьется и начнетъ пѣть такія гадости, что слушать отвратительно...

Уже начались мелкие осенние дожди и цѣлый день не выпускаютъ изъ комнаты; въ городѣ нѣтъ ни одной книжной лавки, хоть улицы полны такъ-называемымъ ученымъ народомъ, а винныхъ погребовъ, кажется, около десятка. Я очень жалѣю, что не взялъ съ собою изъ дома ни одной книги; приказалъ своему человѣку говорить сказки, да у него какія-то лакейскія сказки—все барышни, да господа, да немцы... Чѣдѣ ты мнѣ не рассказываешь про Бабу-Ягу, про Змѣя Горынича, про Гаркушу, про Наливайку?.. „Все это, сударь, мужицкія сказки, я такихъ не знаю....“ Чѣдѣ съ нимъ дѣлать? Вотъ полупросвѣщеніе! вреть нелѣпости на новый ладъ и знать не хочетъ старины! Толковалъ ему, толковалъ—ничего не понимаетъ!

4 декабря.

Наконецъ, я опять дома, въ своей деревнѣ, въ кругу своего семейства! Наши резервы распущены по домамъ. Вотъ и конецъ моей службы! Какая злая насыщика судьбы надо мною! Гдѣ мой крестъ? гдѣ моя слава? чѣдѣ я сдѣлала полезнаго? Мнѣ совѣстно смотрѣть на людей. Мой походъ похожъ на гору, родившую мышонка; я разыгрывалъ роль синицы, которая собиралась зажечь море. Рыцарская страсть къ приключеніямъ, жажда опасностей и славы—все это дало результатъ: изъ несколькиихъ мѣсяцевъ убийственной скучи и горечи разочарованія, одна польза—опытъ.

138... 4 января.

Часто, улыбаясь, смотрѣлъ я на танцы и мысленно повторялъ извѣстный стихъ:

Да изъ чего бѣснуетесь вы столько?

Люди, кажется, и порядочные, и говорить довольно умно, и знаютъ приличія—мужчины не станутъ ни прыгать по комнатѣ отъ скуки, ни свистѣть за столомъ; дамы ходятъ тихо, плавно, будто боясь вывихнуть себѣ ногу, все опускаютъ глазки, ни на волосъ изъ устава Куту витайцевъ о десяти тысячахъ церемоній; заиграла музыка, эти люди стали въ кружокъ—и пошла потѣха! Замахали руками, зашаркали ногами, засуетились, запрыгали. Кто скакетъ прямо, кто бочкомъ, кто толчется на одномъ мѣстѣ; да все такъ храбрятся, точно воробы надъ просыпанной кroupой.

Уморительно-смѣшино! А теперь я самъ танцую съ утра до вечера, съ вечера до утра... Согласенъ, что танцевать, такъ, лишь бы танцевать съ кѣмъ попало, для vis-à-vis, для компаний, и т. п.—мученіе; танцевать съ дамою, которую не только любить, но даже уважать не можешь—же сточайшая казнь; но танцевать съ нею, кружиться подъ волшебные звуки вальса Штрауса въ какомъ-то обаятельномъ мірѣ фантазіи, забывая и людей, окружающихъ меня, и все, кромѣ ея, держать это чудное създание въ объятіяхъ, чувствовать какъ бьется, трепещетъ подъ рукою сердце, за которое радъ бы отдать и мечты прошедшаго и будущности, пить ея дыханіе, слышать легкое прикосновеніе ея кудрей къ лицу вашему, обдающее васъ электрическимъ огнемъ—верхъ блаженства! Выносить всю нѣту этихъ ощущеній можетъ душа любящая, но передать ихъ—никто!.. Съ недѣлю какъ она пріѣхала со своими родными и гостить у насъ, и я, прежде танцовавшій только для приличія, сдѣлался страстнымъ охотникомъ до танцевъ—все почти танцуя съ нею.

Какъ она добра и умна! Матушка моя очень полюбила ее, а она полюбила мою маменьку. Съ дѣтства лишенная отца и матери, она круглая сирота; ей любо отогрѣть душу любовью.

1 мая.

Настала весна. Весело щебечутъ въ полѣ жаворонки,

цвѣтутъ подсѣжники, зазеленѣли рощи, зацвѣли сады; словесъ прилетѣлъ уже и цѣлымъ ночи поетъ свои страстныя пѣсни; все живѣть, все радуєтъ, а мнѣ скучно....

Какъ весело встрѣчалъ я весну будучи ребенкомъ! какъ меня радовала первая травка, зазеленѣвшая на пригоркѣ! я съ восторгомъ встрѣчалъ южныхъ гостей—перелетныхъ птицъ. Природа и теперь все та же; отчего же мнѣ грустно? Какое тяжелое чувство тѣснить грудь мою и слезы готовы брызнутъ изъ глазъ? Отчего это? Я не бѣденъ, отецъ и мать мои живы и такъ любятъ меня; я люблю ее и любимъ—не верхъ ли это благополучія? Женюсь и стану жить въ тишинѣ и спокойствіи... Нѣтъ, я такъ люблю ее, что не могу теперь жениться... Какое имя я принесу ей? дѣйствительный студентъ!... Это значитъ унизить ее предъ уѣздною спѣсью, такъ овладѣвшою моими землячками, что нѣкоторые даже подписываются на пріятельскихъ запискахъ: майорша и кавалерша Н. Н. и проч. въ родѣ этого. Нѣтъ, я долженъ служить, сдѣлаться хоть чѣмъ-нибудь, и тогда... Да и батюшка мнѣ это совѣтуетъ; а я не хочу быть послушникомъ его воли... Мнѣ необходимо служить; я долженъ употребить на пользу отечества мои познанія.

Въ военную службу я теперь ни за что не пойду война кончилась: что я буду дѣлать? опять закочую изъ села въ село, изъ городка въ городишко; скучать или волочиться за дочками помѣщиковъ, чтобы отъ-нечего-дѣлать какъ-нибудь убить праздное время? Нѣтъ, я перемѣню саблю на перо, поѣду въ столицу, въ Петербургъ: тамъ широкое поле для умственной дѣятельности, тамъ столько министерствъ, тамъ я съ пользой употреблю мои познанія.

Рѣшено: еду въ Петербургъ. Года два, много три—и я надѣюсь отличиться; я постараюсь укоротить, облегчить дѣловые переписки; профессоръ правъ такъ много намъ толковалъ о нихъ; я ночей не стану спать.... Я достигну чего-нибудь и возвращусь домой. Тогда какъ будетъ пріятно съ гордостью подать ей руку и сказать: „все для тебя!...“

Еду, еду, въ Петербургъ! тамъ же есть братъ моей матушки, человѣкъ въ чинахъ, давно уже дѣйствительный статский совѣтникъ. Батюшка говоритъ, что онъ его когда-то отправилъ на свой счетъ въ Петербургъ.... Ну, да это въ сторону; довольно, что онъ братъ моей безцѣнной матери. Я пріѣду, обниму этого доброго старичка, передамъ вѣсти о матушкѣ, о нашемъ житьѣ, о своихъ надеждахъ: онъ вѣрно не оставитъ меня на первый разъ своимъ совѣтомъ и покровительствомъ.

10 мая.

Несносный Сутяговскій былъ у насъ и мучилъ цѣлый день своими хитрыми и злыми рассказами. Когда смотрю на него, невольно приходитъ на умъ стихи Пушкина:

И ничего во всей природѣ  
Благословить онъ не хотѣлъ!

Намеки его на мою праздную жизнь нестерпимы; я сказалъ ему, что Еду въ Петербургъ: ему, кажется, это досадно. Онъ ворчалъ батюшкѣ о высокомъріи молодыхъ людей, о выгодѣ служить сначала въ уѣздномъ казначействѣ и постепенно переходить даже до сената, гдѣ можно, дослужась до секретаря, быть человѣкомъ — да я и не слушалъ его вздора.

Сегодня пріѣзжалъ Ивановъ; онъ разсыпался передо мною въ благодарностяхъ говорилъ, что онъ обязанъ мнѣ жизнью и просилъ моего батюшку дать ему въ залогъ нашу деревню на какія-то соляные озера, обѣщаю за это заплатить за крестьянъ подати. „Мнѣ, говоритъ, многіе съ радостью дадутъ имѣнія для этой операции; но какъ я обязанъ вашему сыну жизнью, то хочу какъ-нибудь быть вамъ полезнымъ, хоть вашимъ крестьянамъ. Это дѣло моей совѣсти, позвольте облегчить ее; а между тѣмъ и вы дадите мнѣ возможность получить огромные выгоды и составите счастье моихъ дѣтей“. Отецъ мой согласился и даетъ Иванову довѣренность. Сутяговскій очень одобряетъ это и, по своему образу мыслей, сказалъ, что можно бы еще было сорвать съ Иванова тысячу-другую.

30 мая

Вчера я простился съ нею. Это было на степномъ хуторѣ ея дяди, гдѣ все семейство Ш. гоститъ теперь. Часу въ десятомъ утра она пошла въ степь искать полевой земляники; я пошелъ съ ружьемъ стрѣлять перепелокъ и нашелъ ее около версты отъ хутора.

Утро было чистое, ясное; мы сѣли въ долинѣ; все вокругъ улыбалось; цветы весело помахивали головками; душистый чаберъ благоухалъ въ долинѣ. Грустно сидѣли мы; я рассказалъ ей необходимость поѣздки въ Петербургъ. Судорожно обняла меня она, какъ бы боясь выпустить, потомъ, склоняясь на грудь мою, тихо заплакала... Я тоже плакалъ... Горьки были для меня эти минуты, тяжко было на душѣ моей, а вокругъ все было свѣтло, весело: птички пѣли, ароматные цветы ярко пестрѣли. Мы немного успокоились, поклялись въ вѣчной любви и обмѣнялись кольцами. На небѣ не было ни облачка; но когда она стала надѣвать мнѣ на руку свое колечко съ незабудкой, взругъ на лицо ея набѣжала тѣнь—мы разомъ вздрогнули, взглянули вверхъ: надъ нами вился стѣпной коршунъ. Кто бы могъ повѣрить, что такое ничтожное твореніе могло заставить насъ затрепетать отъ непозѣстнаго страха?...

Нѣсколько минутъ мы сидѣли неподвижно, смотря другъ на друга; я еще разъ обнялъ ее, наконецъ оторвался отъ прощального поцѣлуя и побѣжалъ въ степь; она тихо возвратилась на хуторъ. Къ обѣду мы сошлись оба печальные, а послѣ обѣда я уѣхалъ.

15 юна.

На-дняхъ я выѣду въ Петербургъ; мнѣ приготовили хорошую дорожную брикѣ на рессорахъ;ѣхать будетъ спокойно; долго ли прослѣкать полторы тысячи верстъ? Чрезъ недѣлю я увижу нашу приморскую столицу, увижу новый свѣтъ; образованность, науки, художества—все тамъ имѣть свою цѣну. Чудный городъ!... что ты готовишь мнѣ?

Почекина станція, 23 юна.

Давно ли—еще сегодня утромъ я былъ окруженъ милы-

ми моему сердцу—и вотъ я одинъ брошенъ въ свѣтъ; съ каждою минутою удаляюсь отъ знакомыхъ мѣстъ моего счастливаго дѣтства и беззаботной жизни, и приближаюсь Богъ-знаетъ къ чему, къ худому ли, къ добруму ли, во всякомъ случаѣ къ могилѣ. Когда я отправлялся въ походъ на войну, гдѣ готовъ былъ всякую минуту стать лопомъ-кѣ-лицу смерти, я не грустилъ ни мало, мнѣ были весело; отчего же теперь грущу? Отчего я такъ плакалъ, въ послѣдній разъ обнимая добрыхъ моихъ родителей? отчего мнѣ безпрестанно мерещится этотъ проклятый, зловѣщій коршунъ, съ распущенными крыльями, съ раздвинутыми когтями, висящій надо мною?

Выѣхавъ изъ дома, я все смотрѣлъ назадъ, пока не скрылась изъ виду наша деревня; долго еще была видна вершина пирамидальнаго тополя; подъ нимъ еще вчера мы весело пили чай.... вотъ и онъ екрылся изъ виду; я вздохнулъ, прилегъ на подушку и подъ однообразную пѣсню моего ямщика:

Какъ жена била мужа,  
Да еще пошла на него жаловаться.

вздремнулъ. Въ минуту я былъ въ какомъ-то безграницомъ храмѣ; тамъ множество народа; вотъ батюшка, матушка, братья и сестры; бѣгу къ нимъ—они отъ меня отодвигаются; далѣе, въ нишѣ, стоитъ она, въ вѣнчальномъ нарядѣ; и къ ней, хватаю ее за руку—она отнимаетъ руку, строго смотритъ на меня.... я кличу ее по имени, спрашиваю: узнаешь ли ты меня?—она презрительно улыбается и говорить: „я васъ не знаю.“ Я вздрогнулъ и проснулся.... Какой нелѣпый сонъ!...

Вотъ я уже три часа сижу на станціи; долговязый писарь говорить: нѣть лошадей.—„Не вѣрьте ему бездѣльнику,“—говорить какой-то проѣзжій, котораго я засталъ здѣсь: „онъ на водку хочетъ. Вотъ я шестой разъ сижу на этой дурацкой станціи и ни разу не выѣхалъ, не давъ четвертака этому пьяницѣ—вотъ онъ чего хочетъ!...“ Пришелъ евреѣй, содергатель станціи, поднялся крикъ, скора, споръ—писать невозможно.

7 июля.

Къ безчисленному множеству миѳовъ, порожденныхъ просвѣщеніемъ, должно также отнести и прославленную быструю русскую почтовую ъзду. Четырнадцать сутокъ ъду день и ночь, и не могу проѣхать полторы тысячи верстъ: то нѣтъ лошадей, то лошади не везутъ.... А безпрестанныя непріятности, просьбы ямщиковъ и старость на водку, а рублевыя порціи телятины, которыхъ мало десяти человѣку позавтракать—все это нестерпимо.

Здѣсь встрѣтилъ меня человѣкъ въ родѣ откормленаго кабана, въ красной рубахѣ, съ рыжею бородою, съ претолетою шею, сквозь которую едва пробивается хриплый голосъ: это былъ самъ староста. Онъ посмотрѣль на мою подорожную и посовѣтовалъ мнѣ итти въ гостиницу, потому что лошадей нѣтъ. Я отыскалъ смотрителя и подаль подорожную.

- Надобно спросить у старосты,—сказалъ онъ.  
— Я старосту видѣлъ.  
— Что же онъ?  
— Говорить: нѣтъ лошадей.  
— Вотъ видите! Я вамъ говорю: и продана быть не можетъ гонъ ужаснѣйший!...

Принадлежитъ библіотекѣ  
Л. ИДЗИКОВСКАГО

Хоть сами посмотрите въ книгу.... у меня каждая лошадь записана.

- Скоро ли будуть лошади?  
— А Богъ знаетъ. Часовъ черезъ шесть, можетъ, сберемъ, если кто не подоспѣеть по казенной.  
— А если подоспѣеть, то мнѣ опять придется ждать?  
— Дѣлать нечего, у насъ иногда сутокъ по двое сидятъ: подъ столицею разгонъ всегдашній. Бейся, бейся, какъ рыба обѣ ледъ—бѣдовое дѣло!  
— Нѣть ли у васъ своихъ лошадей?  
— Куда намъ держать! служимъ изъ хлѣба; а если хотите, здѣсь есть вольный извозчикъ, у него лошади знатные; мигомъ васъ доставить въ Питеръ.  
— Ради Бога, пошлите за нимъ.

— Только онъ менѣе сорока рублей не возьметъ за тройку.

— Богъ съ нимъ, лишь бы доставилъ скорѣе.

— Такъ вы пожалуйте деньги, я ему отдамъ.

— Возьмите.

Добрый старичекъ смотритель! Онъ взялъ деньги, открылъ окно и закричалъ! Фомка, живѣе барину тройку! Пожалуйте вашу подорожную.

— Для чего жъ это! вѣдь я поѣду на вольныхъ.

— Конечно; но все, знаете, оно безопаснѣе; вы уѣзжаете изъ станціи, надобно беречь себя.

— Развѣ здѣсь шалять?

— Богъ миловалъ; а на всякий случай не мѣшаешь, знаете ради остраксти.

Смотритель, записавъ подорожную, отдалъ мнѣ ее, приваривая: „Вотъ такъ лучше! Ну, теперь съ Богомъ.“ Добрый человѣкъ этотъ смотритель!

8 июля.

Много радости приноситъ намъ фантазія, а еще больше печалей. Какъ сравнишь мечту съ дѣйствительностью—вѣчный проигрышъ на сторонѣ послѣдней, и человѣкъ—постоянная жертва разочарованія. Я въ Петербургѣ, и недоволенъ имъ! Моя фантазія состроила идеаль этого города; существенность не подошла къ идеалу, и Петербургъ мнѣ не нравится. Я ожидалъ гораздо лучшаго.... Неоштукатуренные дома некрасивой архитектуры, въ родѣ фабрикъ, поразили глаза мои непріятнымъ ощущеніемъ. Даже, мнѣ кажется, мало въ немъ жизни, мало движенія для столицы. Впрочемъ, я не видѣлъ еще главной улицы—Невскаго проспекта. На этой улицѣ живеть мой дядюшка. Завтра пріодѣнусь и поѣду къ нему.

9 июля.

Я пріѣхалъ къ дядюшкѣ въ 10 часовъ утра. „Его пре-  
восходительство изволитъ почевать,“ сквозь зубы провор-  
чалъ мнѣ надутый лакей и захлопнулъ передъ носомъ дверь.

Приходу въ одиннадцать: „чай кушаютъ!“ отвѣтаетъ та же ливрейная кукла.

— Доложи, братецъ, что я племянникъ генерала, пріѣхалъ изъ .....губерніи и привезъ ему отъ родной сестры письма.

Лакей окинулъ меня глазами съ головы до ногъ и, указавъ рукою на дверь, ведущую въ пріемную, сказалъ: „обождите тамъ.“

Цѣлый часъ бродилъ я по комнатѣ, разматривая эстампы, висѣвшіе на стѣнахъ, и не переставая удивляться, отчего бы дядюшкѣ не пригласить меня выпить съ нимъ чашку чаю. Ударило двѣнадцать; лакей отворилъ дверь въ гостиную и просилъ меня войти.

Дядюшка въ вицѣ-мундирѣ, съ звѣздою на груди, сидѣлъ на диванѣ; возлѣ него въ креслѣ почти лежалъ молодой гвардейскій офицеръ, а возлѣ офицера сидѣла дѣвушка блѣдная, худая, перетянутая до-нельзя, очень похожая на стрекозу. При первомъ взглядѣ на дядюшку, меня оставила мысль броситься къ нему на шею. Это былъ чопорный старикъ, одѣтый съ изысканностью, съ бѣлымъ фарфоровымъ лицомъ, безъ жизни, безъ выраженія. Когда я ему отдалъ письма, онъ, не читая ихъ, подалъ мнѣ два холодные, какъ ледь пальца, и хладнокровно проговорилъ:—очень радъ, садитесь. Вы, вѣроятно, пріѣхали на службу?

— Точно такъ.

— Здѣсь чрезвычайно трудно доставать мѣста по статской службѣ.

Тутъ вѣжаль въ комнату какой-то чиновникъ и принизко поклонился дядюшкѣ; дядюшка обнялъ его, усадилъ на диванъ и началъ толковать о вчерашнемъ.

Мой дядюшка одушевился, глаза его какъ-то задвигались скорѣе; онъ засыпалъ своего гостя сюркупами, онерами; три левэ, два левэ, четыре левэ—такъ и лились съ языка. Противникъ не плошалъ и быстро отстрѣливался фразами въ родѣ: тузъ, король и дама самъ-пять.

Дѣвушка шепталась съ офицеромъ смѣялась и изрѣдка,

посматривала на меня въ лорнетку. Кажется, мой провинциальный костюмъ очень тѣшилъ ее: такъ, по крайней мѣрѣ, я заключилъ изъ немногихъ словъ, долетѣвшихъ до меня: а офицеръ держалъ оппозицію, увѣряя, что въ Польшѣ, во время похода, онъ видѣлъ много подобныхъ оригиналовъ, что это въ провинціи въ модѣ. Вѣроятно, язычекъ милой дѣвицы уже слишкомъ заѣхалъ далеко: она сдѣлала какое-то замѣчаніе на ухо офицеру и, лукаво кивая головою, громко сказала: *n'est ce pas?* а тотъprehладнокровно отвѣчалъ: *je crois que non.*

Dites encore, que la neige n'est pas blanche! съ сердцемъ скоро проговорила дѣвушка, сжала отъ злости губки, отворотилась отъ офицера и, презрительно посмотрѣвъ на меня, вышла изъ комнаты.

Офицеръ не тронулся съ мѣста, только зѣвнуль.

Видя, что мною никто не занимается, я раскланялся. Дядюшка на этотъ разъ не подалъ мнѣ и одного пальца, только сказалъ, слегка кивая головою: „Когда устроитесь, извѣстите меня: мнѣ будетъ пріятно слышать; да кланяйтесь вашимъ родителямъ, если будете писать.“ Въ передней я спросилъ слугу:

- Кто эта дѣвушка и офицеръ?
- Это дѣти его превосходительства.
- А гость во фракѣ?
- Сочинитель Единороговъ.
- Что же онъ еочиняетъ?
- Не могу дождѣться. Кажется, онъ намъ скаживалъ, пишетъ исторію дома его превосходительства. Писать лишь бы охота, а домъ большой, съ флигелями, съ конюшнями....

Грустно я вышелъ на улицу. Мой дядюшка человѣкъ надутый; его дѣти—жалкія, пустѣйшія созданія! Никогда нога моя не будетъ въ этомъ домѣ. Если-бъ мнѣ пришлось умереть на улицѣ отъ холода, я не укроюсь у него подъ воротами. Гдѣ радужный пріемъ, о которомъ я мечталъ всю дорогу? гдѣ, наконецъ, благодарность? Опять разочарованіе!...

8 августа.

Воть уже мѣсяцъ живу я въ Петербургѣ; все мои занятія—обѣдъ, сонъ и прогулка. Чѣмъ болѣе узнаю я Петербургъ, тѣмъ болѣе ему удивляюсь. Очаровательный городъ!... Острова его—заглядѣнья. Если бы холодная сырость, проникающая васъ по закату солнца, не напоминала вамъ о близкомъ сосѣствѣ съ Лапландіей, можно бы подумать, что находишься подъ небомъ счастливой Италии: кругомъ прелестныя рѣчки съ зелеными берегами; въ нихъ чистыя воды глядятся изящно-красивые домики, тѣнистые сады цѣлый міръ цвѣтовъ. Вы идете: пахнущий вѣтерокъ и обдалъ васъ благоуханіемъ цвѣтушихъ померанцевъ. На чистой площадкѣ сада, усыпанной бѣлымъ пескомъ, вы видите известную статую Меркурия Флорентинскаго, онъ вылетаетъ изъ куста прекрасныхъ синихъ колокольчиковъ.

Перстъ указуетъ на даль, на главѣ развилися крылья,  
Дышетъ свободою грудь, съ легкостью дивною онъ,  
Въ землю удара крылатой ногой, кидается въ воздухъ....  
Мигъ—и умчится....

Боишься отвѣсть глазъ, чтобъ не потерять этотъ мигъ....  
Далѣе, въ павильонѣ изъ розъ и акацій, Амуръ обнимаетъ  
Психею: ихъ позы полны нѣги и сладострастія; съ  
какой любовью смотрить Амуръ въ очи Психеи, будто читаешь въ нихъ вѣчную, безпредѣльную повѣсть счастія!  
Его мраморныя крылья, кажется, трепещутъ отъ восторга,  
и эта группа облита темнымъ полусвѣтомъ, проходящимъ  
между зеленыхъ вѣтвей акацій, обвѣяна тонкимъ ароматомъ  
розъ.... Тамъ ярко ~~п~~естрѣеть широкополосная, въ восточномъ вкусѣ, шелковая палатка; шалунъ вѣтерокъ мимолетомъ тронетъ ее—и роскошно заволнуются, перельются  
въ радужныхъ отливахъ ея фантастическая полы, и засверкаютъ алые снурки и кисти, перевитыя золотомъ. Тише!...  
вы слышите звуки, будто летящіе къ намъ съ вышинь—  
эта бѣглая проба на арфѣ, аккордъ, другой—и чистый голосъ запѣлъ въ палаткѣ итальянское болеро; струны арфы  
то гремятъ, то замираютъ подъ руками, и голосъ пѣвицы,

проходя по всѣмъ измѣненіямъ страсти, дрожитъ, перерывается, растаиваетъ въ какомъ-то самозабвеніи и сливается съ арфою: голосъ умолкъ, одна только арфа, какъ далекое эхо, въ тихихъ аккордахъ повторяетъ страстную мелодію.... Очаровательно!...

*Сентябрь*  
1 сентября.

Теперь уже Невскій проспектъ началъ оживать; впрочемъ, посѣща его въ извѣстные часы нѣсколько дней сряду, я замѣтилъ, что онъ похожъ на огромную гостиную: народу пропасть, а встрѣчаешь все одни и тѣ же лица. Я ни съ кѣмъ не знакомъ въ Петербургѣ, но знаю очень много людей по физіономіи и, кажется, узналъ бы ихъ, если-бъ встрѣтился съ ними въ Америкѣ; особливо обратилъ мое вниманіе одинъ почтенный старишокъ: въ четвертомъ часу онъ каждый день идетъ по Невскому, въ коричневомъ длинномъ сюртукѣ и шляпѣ съ широкими полями; лицо у него важное—такъ много на немъ думы; глаза всегда съ размышеніемъ опущены въ землю. Я ежедневно встрѣчаясь съ нимъ, вчера только замѣтилъ, что у него на лѣвомъ глазу бѣльмо. Можетъ-быть, это одинъ изъ свѣтильниковъ науки, какой-нибудь извѣстный въ мірѣ ученый, академикъ. Четверть часа ранѣе встрѣчаются два молодые франта—должно быть, высокіе аристократы; они идутъ вѣчно вмѣстѣ обѣруку другъ съ другомъ, вѣчно веселы, громко говорятъ, хотятъ... что за манеры у нихъ: то искоса мигнуть на встрѣчную субретку, то слегка задѣнуть тросточкою бѣгущую мимо собаку—прелесты!.. Полчаса спустя, послѣ ста-ричка въ широкой шляпѣ встрѣтишь.... Ну, да Богъ съ ними! и въ недѣлю не опишешь Невскаго. Весело, а все-таки нѣть мѣста!

Въ какомъ министерствѣ я не былъ! вездѣ примутъ ласково, и отвѣчаютъ: „къ величайшему сожалѣнію, нѣтъ вакансіи.“ Одинъ добрый секретарь даже сказалъ мнѣ, что такъ уважаетъ мои таланты и такъ полюбилъ меня (поговоря минуту пять), что готовъ самъ умереть, лишь бы доставить мнѣ вакансію. Нечего сказать, народъ вѣжливый!...

5 сентября.

Наконецъ я опредѣленъ. Проходя по улицѣ, вымощенной камнемъ, я замѣтилъ надпись: „Департаментъ \*\*\*“. Я взялъ свой аттестатъ и явился къ начальнику. Начальникъ, маленький, толстенький человѣкъ, съ круглымъ веселымъ лицомъ и коротко выстриженными волосами, зачесанными кверху, вышелъ въ приемную и, быстро повернувшись въ рукахъ золотую табакерку, спросилъ: „что вамъ угодно?“ Я объявилъ ему о намѣреніи служить подъ его начальствомъ и просилъ о мѣстѣ. Директоръ протянулъ ко мнѣ руку и, какъ бы ожидая, что я подамъ ему письмо, спросилъ:

- Кто вамъ рекомендовалъ нашъ департаментъ?
- Никто.
- И вы ни отъ кого не имѣете письма?
- Ни отъ кого.
- Но вы имѣете руку?
- Даже и двѣ, чтобы работать все полезное.
- Нѣть, вы меня не поняли, вы имѣете знакомство, связи, родство?
- Никакого.
- Да какъ же это вы такъ?... Кто за васъ поручится?

Извините меня....

- Мое происхожденіе, мое воспитаніе...
- Ха-ха-ха! извините меня, это неслыханное дѣло!

Петръ Иванычъ! Егоръ, позови Петра Иваныча.

Скоро пришелъ Петръ Ивановичъ, высокий, сухощавый человѣкъ.

— Послушайте, Петръ Ивановичъ,—говорилъ директоръ: — вотъ молодой человѣкъ пришелъ безъ рекомендательного письма опредѣляться на службу — безъ рекомендательного письма! Да это оригиналная штука! Миѣ бы хотѣлось опредѣлить его; у насъ есть вакансіи?

— Есть одна, отвѣчалъ Петръ Ивановичъ, мрачно посмотрѣвъ на меня: — на первый окладъ.

Прекрасно! напишите, молодой человѣкъ просьбу, приложите ваши бумаги и отдайте Петру Иванычу. Удивитель-

ное приключеніе! Я сегодня же расскажу объ этомъ въ англійскомъ клубѣ—похочохочетъ князь Федотъ!...

Черезъ часъ я былъ уже опредѣленъ въ какіе-то чиновники 1-го оклада. Вотъ какъ! разомъ въ 1-й окладъ! Завтра явлюсь на службу!

6 сентября.

Меня упрятали, просто, въ писаря, съ жалованьемъ 420 рублей ассигнаціями въ годъ!...

— Вы учились ариѳметикѣ?—спросилъ меня начальникъ отдѣленія, Петръ Ивановичъ. Я не успѣлъ отвѣтить на этотъ нелѣпый вопросъ, какъ онъ продолжалъ:—такъ возьмите у журналиста Кокоровкина вѣдомость, повѣрьте въ ней итоги и подведите общій итогъ. Кокоровкинъ дослужился до надворного совѣтника, славно запечатывается и надписываетъ пакеты, а все не знаетъ сложенія: самъ вызвался составить вѣдомость о людяхъ, да и концовъ не сведетъ: все въ итогѣ приходится, то половина, то третья человѣка!

Канцелярія засмѣялась, и я пошелъ къ журналисту.

При первомъ взглядѣ на журналиста я замѣтилъ въ немъ разительное сходство съ старичкомъ въ широкой шляпѣ: такой же глазъ съ бѣльмомъ, та же важная физіономія, только вместо коричневаго сюртука журналистъ былъ въ вицъ-мундирѣ. Я взялъ вѣдомость, посмотрѣлъ на итогъ и чуть не захочоталъ во все горло: въ итогѣ было написано 5643  $\frac{3}{4}$  человѣка; послѣ  $\frac{3}{4}$  были зачеркнуты карандашемъ и сверху приписано  $\frac{5}{8}$ .

— Вѣдомость, должно быть, трудная?—спросилъ я у журналиста.

— Попробуйте, такъ узнаете.

— Отчего же у васъ тутъ вышло  $\frac{3}{4}$  человѣка?

— Нѣть, должно быть,  $\frac{5}{8}$ .

— А пять восьмыхъ отчего?

— Отчего? чортъ его знаетъ отчего! такъ выходитъ. Попробуйте, такъ перестанете смѣяться. Тутъ такое, я вамъ

скажу: и мертвя души, и несовершеннолѣтнія.... такая путаница, самъ чортъ ногу сломить.

— А у него непрочныя ноги?

— Попробуйте-ка попробуйте, перестанете смеяться.

Еще я замѣтилъ здѣсь двухъ молодыхъ писцовъ—презна-  
комыя лица, какъ-будто я гдѣ то ихъ видѣлъ, или они сни-  
лись мнѣ: въ старыхъ сюртукахъ, обшитыхъ галунами;  
сидѣть они за особымъ столомъ и Петръ Ивановичъ въ  
продолженіе всего присутствія ворчалъ на нихъ, выговари-  
валъ, что они русской грамотѣ не знаютъ и не хотятъ слу-  
шать, только озорничаютъ, и грозился оставить ихъ въ де-  
партаментѣ безъ сапоговъ. „Я, говорить, дескать, вспомню  
старыя времена, когда я служилъ въ вашемъ чинѣ.“

Въ три часа директоръ уѣхалъ. Петръ Ивановичъ ушелъ  
въ слѣдь за нимъ, и въ департаментѣ поднялась кутерьма:  
всѣ прятали бумаги; первые выскочили въ переднюю два  
писца, юдѣли короткіе сюртучки, взяли тросточки и по-  
мчались по Невскому; теперь только я ихъ узналъ совер-  
шенно—моихъ невскихъ аристократовъ. Немного погодя,  
вышелъ журналистъ, натянулъ сверхъ виць-мундира корич-  
невый сюртукъ, покрылъ мудрую голову шляпою съ широ-  
кими полями и важно двинулъся по Невскому. „Такъ вотъ  
мой академикъ, механикъ, астрономъ!“ подумалъ я и, уве-  
ченный общимъ потокомъ, пошелъ тоже по Невскому—  
домой.

1 декабря.

Третій мѣсяцъ служу я и все переписываю бумаги скуч-  
ные, безжизненные! Стоило для этогоѣхать въ Петербургъ!  
Я могу, при счастіи, лѣтъ чрезъ пять приступить на жало-  
ванье 750 рублей и все-таки буду переписывать; а я еще  
при вступленіи нажилъ себѣ непріятеля въ лицѣ Петра Ива-  
новича; онъ приберегалъ мѣсто, которое я занялъ, своему  
крестнику, и вдругъ я какъ съ облаковъ свалился.

Петръ Ивановичъ называетъ меня вольнодумцемъ оттого,  
что я, переписывая его бумаги, исправляю букву Ъ, кото-  
рую онъ ставить какъ попало; онъ напишетъ веденіе, а

я поправлю въдѣніе; споримъ часть, и кончится тѣмъ, что онъ разскажетъ сказку, какъ яйцы курицу учили, и тому подобныхъ любезности, и согласится принять одно въ пишетъ въденіе.

Ванька несетъ съ почты письмо. Въ сторону журналь! Что то новаго мнѣ пишутъ изъ дома?

„Милостивый государь,

„Яковъ Петровичъ!

„Будучи въ сосѣдствѣ и находясь въ пріязни съ домомъ вашимъ, я всегда питалъ къ вамъ чувства моего почтенія, иначе выразиться, чувственную привязанность, не находивъ въ васъ трагического духа. Съ особеннымъ неудовольствіемъ спѣшу извѣстить васъ о паденіи вашего черкеса: онъ палъ, иначе выразиться, издохъ отъ сильного перегона, будучи посланъ за докторомъ по причинѣ удара, приключившагося вашему батюшкѣ, отъ коего онъ и померъ; ваша матушка осталась теперь во вдовствующемъ положеніи, но что же дѣлать! Не печальтесь, ибо мы всѣ ходимъ подъ Богомъ и кончаемся за грѣхи Адама. Въ васъ на похоронахъ было много почету и нашъ предводитель генералъ Н. Н., который, можно выразиться, и генералъ и человѣкъ генеральный, и Сутяговскій очень оскорблялся и плакалъ, и прочие, всѣ извѣстные, были въ сильномъ расположеніи и въ слезахъ, а послѣ обѣда разѣхались. За симъ съ чувствомъ глубочайшаго высокопочетанія и совершенной преданности имѣю честь пребыть вашимъ, милостивый государь, покорнѣйшимъ слугою—

Иванъ Шука-Окуневскій.

183 . . . года, ноября 15 дня.

Село Скоробрехи.

„Прилагаю при семъ рецептъ, доставленный для васъ вашимъ аптекаремъ для самопалительныхъ сѣрныхъ спичекъ.

Возьми: Phosphor: gr. x. т.-е. фосфору 10 грановъ.

Flor. Sulph. — j — сѣрныхъ цвѣт. 1 гранъ,  
Kalioximurialici 3j — солянокислаго поташа 1 драхму,

разотри въ тридцати гранахъ слизи аравійской камеди и обмакивай спички, а послѣ суши въ сухомъ воздухѣ.“

29 декабря.

И еще мѣсяцъ; и все переписываю бумаги; въ положенные часы прихожу, и выхожу въ положенный часъ; я сдѣлался сущимъ автоматомъ!... Впрочемъ, со смерти моего доброго отца, я хожу какъ въ туманѣ, неспособенъ понять ни одной живой мысли, и для меня занятіе переписчика очень по-рукѣ; даже я не могъ ничего написать въ своей памятной книжкѣ: онъ умеръ—и больше ничего! Я даже смеялся, читая безтолковое письмо съ сѣрными спичками, а на грудь будто легъ тяжелый камень, голова трещала отъ жара, а руки стали холодны какъ ледъ.

Сегодня немного мнѣ легче; слезы брызнули изъ глазъ и мнѣ такъ стало жалко доброго моего старика! Я вспомнилъ, какъ онъ прощался со мною и плакалъ, обнимая меня, какъ долго смотрѣлъ вслѣдъ за уѣзжавшимъ моимъ экипажемъ; какъ его сѣдая голова медленно кланялась мнѣ изъ окна.... И зналъ ли я тогда, что прощаюсь съ нимъ навѣки.... что я схороню его.... что мои поцѣлуи были надгробное лобзаніе сходившему въ могилу? Блаженъ человѣкъ, что не вѣдается будущаго!...

183... 1 января.

Сегодня новый годъ. Коллежскій асессоръ Алеутниковъ, служащий въ одномъ со мною отдѣленіи, затащилъ меня поздравить съ праздникомъ Петра Ивановича. Петръ Ивановичъ одѣвался, однако принялъ насъ очень ласково и, разговаривая о погодѣ, началъ повязывать передъ зеркаломъ галстукъ. Петръ Ивановичъ не любитъ бантовъ и всегда завязываетъ галстукъ на затылкѣ; теперь, какъ-нарочно, концы платка не сходились, руки двигались вроазъ, и Петръ Ивановичъ начиналъ морщиться отъ досады. Въ два прыжка низенький Алеутниковъ очутился сзади своего патрона, вытянувшись на цыпочкахъ овладѣлъ галстукомъ и повязалъ его. Я невольно улыбнулся.

— Чувствительно обязанъ! — сказалъ Петръ Ивановичъ, быстро оборотясь къ Алеутникову, и даже взялъ его за руку, а на меня бросилъ самый мрачный взоръ.

2 января.

Косо посмотрѣлъ на меня въ департаментъ Петръ Ивановичъ и почти бросилъ передо мною бумагу, исписанную ужаснѣйшими крючками и хвостами, сказавъ сердито: „переписать скорѣе, да не ошибиться. Эти ученые много о себѣ думаютъ, а мало дѣлаютъ.“

Началь я разбирать кудрявое письмо моего благодѣтеля, по слову, по два переводить на бумагу и къ концу присутствія явилось очень чистенькое отношеніе отъ лица нашего директора къ одному важному духовному лицу. Петръ Ивановичъ долго рассматривалъ мою копію, сличалъ ее съ оригиналомъ, придирился къ запятымъ, и вдругъ поблѣднѣлъ отъ ужаса и, гордо поднявъ голову, грозно посмотрѣлъ на меня.

— Какъ вы смѣете дѣлать подобныя дерзости, невѣжественности? Вотъ что значитъ принимать на службу неизвѣстныя лица!

— Какія дерзости?

— Еще и какія! Какъ вы могли смѣть искажать смыслъ бумаги, данной вамъ начальникомъ?

— Гдѣ же, позвольте узнать?

— Гдѣ же! гдѣ же! вы хотите подъ судъ меня упратить? еще гдѣ же?... Этакое фанфаронство, съ позволенія сказать, вольнодумство, сущее безбожіе! неуваженіе властей....

— Я васъ не понимаю.

— Не хотите понимать, лучше скажите.... Да, возьмите, читайте, что тутъ написано: съ совершеннымъ и прочая.... читайте!

Съ совершеннымъ высокопочтеніемъ честь имѣю....

— Довольно, довольно! какъ вы сказали, съ совершеннымъ?...

— Высокопочтеніемъ.

— Да, высокопочтеніемъ, еще и смотрѣть такою невинностю! развѣ можно писать такъ неуважительно?

— У васъ такъ написано.

— Неправда, подайте сюда! видите: — выс. Поч. и только — это значитъ, что я далъ вамъ только намекъ, надѣясь на ваше образованіе, а вы и этого не знали, или не хотѣли знать, я полагаю.

— Чѣдѣ здѣсь написать надобно?

— Съ совершеннымъ высокопочтаниемъ — понимаете? не почтеніемъ, а почитаніемъ; это означаетъ степень великаго уваженія. Хорошъ бы я былъ, если-бъ подалъ къ подписанію его превосходительству эту бумагу, и вдругъ бы мнѣ наклеили носъ, вотъ какой — при этомъ словѣ Петръ Ивановичъ приставилъ къ своему носу указательный палецъ и сдѣлался очень смѣшонъ.

Петръ Ивановичъ еще пѣтушился, еще ворачалъ, но я уже не слышалъ его замѣчаній: сторожъ принесъ мнѣ письмо; я вышелъ въ приемную, чтобы прочитать.... нѣтъ, прописать.... или да, точно, прочитать и прочиталъ, перечиталъ, нѣтъ, зачиталъ.... голова кружится — жарко — не могу писать.... лягу прочитать.

„Дорогой товарищъ мой!

Давно мы съ тобою не видались. Какъ вышли изъ лицея, подали на прощаныи другъ другу руки и разошлись по разнымъ дорогамъ: ты зажилъ въ деревнѣ, а я отправился къ своему дядѣ, командовавшему .... мъ уланскимъ полкомъ, получилъ *virtuti militari*, чинъ поручика, и теперь стою съ полкомъ въ ..... уѣздѣ. Славный уѣздъ! помѣщиковъ пропасть, ребята все веселые, хорошенькихъ бездна — извини за армейскій слогъ: гдѣ намъ угоняться за вами, столичными! У насъ, вмѣсто зеркала блестаетъ свѣтлой сабли полоса, и диваны замѣняютъ кульовса, какъ тамъ поется въ этой гусарской пѣснѣ — ты знаешь; я не мастеръ былъ и въ классѣ заучивать стихи; грѣщенъ только въ четырехъ строкахъ, которыхъ профес-

*и где сидѣши менѣ даешъ  
и береги, чѣмъ єго вспоминашъ*

соръ приводилъ въ примѣръ слога, не помню какого роста, чуть ли не высокаго, и за которые я сидѣлъ три дня въ карцерѣ; врѣзались въ память проклятые! вотъ они, возьми ихъ себѣ на здоровье:

Хоть съ вами-бѣ Россы къ намъ достигли  
Поящи западъ быстрины,  
Хотя бы вы на насъ воздвигли  
Союзны ваши всѣ страны....

А дальше, хоть убей, не знаю. Желалъ бы и этихъ не помнить, да запали въ голову какъ смертный грѣхъ. А за стихи ты, по старой дружбѣ, сослужи службу: вышли по первой почтѣ двѣ пары эполетъ, одну форменную, а другую бальную, побольше, потолще, поблестящее, со всевозможными блѣстками. Чѣдѣ будетъ стоить, деньги я вышлю. А propos! Я забылъ было! Въ здѣшнемъ уѣздѣ живеть нашъ товарищъ Ш.; растолстѣлъ, братецъ; все спить послѣ обѣда, а у него сестрица—объяденѣе, такая сантиментальная! Я къ нимъ очень часто ъѣжалъ прежде съ корнетомъ фонъ-Шпекъ. Лихой малый, говорить по-нѣмецки, и по-русски объясняется порядочно: можно понять; играетъ шибко—вотъ бѣда! Такой бѣшеный нѣмецъ: все ставить на карту, пока есть чѣдѣ на немъ; радъ бы и душу загнуть на уголь, да на чѣдѣ кому она? никто и въ грошъ не приметъ! прошли времена Громобоевъ....

Съ нимъ было уморительное приключеніе: сестрица Ш. начала на него заглядываться; онъ былъ дорогой гость въ домѣ. Однажды Шпекъ проигрался въ пухъ и цѣлую недѣлю питался картофелемъ и солью; я, ъедучи къ Ш., взялъ Шпека съ собою. Дорогою Шпекъ мнѣ рассказалъ о своемъ картофельномъ постѣ. Пріѣжаемъ — намъ очень рады. Приходитъ пора обѣдать. Шпекъ съ удовольствіемъ посматриваетъ въ столовую. Сѣли за столъ: первое кушанье — картофельный супъ; я посмотрѣлъ на Шпека и не могъ не улыбнуться; подаютъ соусъ картофельный, другой тоже изъ картофеля, жареный картофель и пирожное изъ картофельной муки. Шпекъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ; онъ принялъ

это въ насыпку, тѣмъ болѣе, что при всякой перемѣнѣ черные глазки т-ле Ш. быстро посматривали на Шпека. Я человѣкъ неслышкомъ тонкій, а каюсь, подумалъ, что эта насыпка на нѣмецкую натуру моего товарища. Послѣ обѣда Шпекъ закапризился Ѳхать домой; я боялся, чтобъ онъ не состроилъ какой сцены, и мы уѣхали.

Дорогою Шпекъ разразился въ проклятияхъ. „Дьяволъ бы побралъ всѣхъ этихъ быстроглазыхъ!“ кричалъ онъ: „сама дала мнѣ поводъ волочиться за собою, а теперь издѣвается. Да что она мнѣ? Если-бъ не ея имѣніе я и не смотрѣль бы на нее. Я знаю себѣ цѣну; въ сюртукѣ еще ничего, а на-дѣну уланскій мундиръ—всѣ дамы засмотрятся на меня; выбирай любую! Рѣшительно голоденъ; въ желудкѣ пусто какъ въ карманѣ! А вы, чай, и хлѣба не видали, Федотовъ?“

Федотовъ, денщикъ Шпека, сидѣвшій на козлахъ вмѣстѣ съ моимъ кучеромъ, сдѣлалъ поль-оборота направо и, приподнявъ фуражку, отвѣчалъ: „Никакъ нѣтъ-съ ваше благородіе, до отвалу накормили; едва могу сидѣть на козлахъ, да и ко мнѣ прибѣгала только-что мы пріѣхали, горничная барыни, да все спрашивается: „да скажи, Федотычъ, что твой баринъ больше всего любить?“—Наше дѣло служивое, ваше благородіе; я и говорю: „вотъ такихъ чернавочекъ.“ Она хватать меня по рукѣ, да и говоритъ: „не о томъ спрашиваютъ; что твой баринъ любить кушать?“

- Всѣ, чтобъ люди Ѳдятъ.
- Да что больше всего Ѳесть?
- Коли голоденъ, что подашь первое, то и Ѳесть больше всего.
- Да что чаще всего ему готовятъ?
- Вотъ съ недѣлю, моль, все Ѳесть картофель.
- Такъ бы и давно!—и побѣжала отъ меня словно уголовѣла.

Шпекъ, слушая разсказъ денщика, былъ въ восторгѣ. Теперь объяснилась причина картофельного обѣда: ему хотѣли угодить. Я поздравлялъ Шпека съ завоеваніемъ, взялъ съ него честное слово послѣ вѣнца купить мнѣ одному бу-

тылку шампанского, а я обязался при немъ и при женѣ его выпить. Вчера бутылка выпита, свадьба была пешумная — только свои. Шпекъ едва утерпѣлъ, чтобы въ день свадьбы не сѣсть играть отъ радости. Его молодая супруга была въ восхищении; ея черные глазки такъ и сыпали искры.... Чрезъ мѣсяцъ назначень огромный баль у молодыхъ, а тамъ и пойдутъ танцы — то у того, то у другого изъ родственниковъ. Очень радъ, что узналъ твой адресъ; поспѣши высказать эполеты къ этому времени; авось и мы выкинемъ такую штуку.... Прощай, тон ange, какъ пишутъ моло-денькия пансіонерки. Не забудь твоего друга.

А. Завитаевъ.

25 января.

Третій день, какъ я началъ прохаживаться по комнатѣ; силы мои быстро возстановляются. Сегодня я уже могу писать и докончить описание ужаснаго дня.... Два раза перечиталъ письмо Завитаева и началъ читать уже въ третій разъ, какъ понялъ страшную истину и судурожно измѣялъ его въ рукѣ. Мысль, что Завитаевъ ничуть невиноватъ быстро мелькнула въ умѣ моемъ; я молча спряталъ письмо въ карманъ въ это время кольцо съ незабудкою блеснуло мнѣ въ глаза, я сорвалъ его съ пальца и хотѣлъ выбросить въ окошко.

- Погодите, ваше благородіе,— сказалъ сторожъ Егоръ.
- А что?
- Вы хотите выбросить на улицу колечко.
- Тебѣ какое дѣло?
- Такъ, вѣдь оно, кажется, золотое?
- Ну, да.
- Пожалуйте лучше мнѣ его.
- А тебѣ на что?
- У меня, сударь, есть дочка, девчонка лѣтъ пятнадца-ти, да какая охотница до перстеньковъ.
- Нѣть, если-бъ ты хотѣлъ его пропить въ кабакѣ, я,

можетъ быть, отдалъ бы тебѣ его, а дочери твоей не отдаамъ. Не хочу я, чтобы въ добрыхъ рукахъ было это кольцо.

— На улицѣ могутъ поднять его и добрые люди.

— Это правда; спасибо за совѣтъ.

Я спряталъ предательское кольцо въ карманъ; но оно не давало мнѣ покоя, шевелилось, жгло меня. Пойду къ Невѣ, думалъ я, и брошу въ Неву гадкій перстень; но Нева такъ хороша, всегда такъ величественно, благородно несетъ свои синія, прозрачныя волны: не хочу осквернить ее моимъ кольцомъ. Въ этихъ мысляхъ шель я по Невскому и уже былъ на Полицейскомъ мосту. Была оттепель; у ногъ моихъ, какъ змѣя, вилась грязная Мойка; ея густыя, зловонныя струи лѣниво переливались въ широкой проруби.... «Вотъ достойное мѣсто для ея подарка,» подумалъ я, досталъ кольцо, положилъ его на руку, по старой привычкѣ поцѣловалъ его, и щелчкомъ сбиль въ Мойку. Долетая до воды, оно еще разъ сверкнуло, повернулось ко мнѣ голубымъ цвѣточкомъ—и ушло на дно.

Въ эту минуту что-то будто порвалось въ груди моей, и я почувствовалъ необыкновенно пріятную теплоту; я кашлянулъ—кровь хлынула изъ горла. Пришедъ на квартиру, я сѣлъ пару апельсиновъ, выпилъ стакана два со льдомъ воды и волненіе крови унялось. Я сталъ, повидимому, спокойнѣе, даже сѣлъ писать свои запѣски, но не могъ кончить.... Иванька говоритъ, что онъ нашелъ меня въ креслѣ въ обморокѣ, уложилъ въ постель, и я на третій день едва очнулся отъ сильнаго бреда. Доктора взяли меня въ руки, поохотились порядкомъ надо мною, и травили цѣльми стаями злыхъ піявокъ, й чего не дѣлали они, а спасибо—помогли.

1 февраля.

Я хочу не думать о ней, я презираю ее; а несносное воображеніе безпрестанно мнѣ ее представляеть; она не стойть того, чтобы я о ней думалъ: она хоть и хорошенькой бюстикъ, но безъ души; ея глаза хоть и глядять такъ упоительно, но въ нихъ свѣтится огонь сладострастія—и больше ничего; ея

улыбка хоть и очаровательна, но полна лжи.... такъ вовсе я не хочу думать о ней, хочу заставить себя забыть ее, и между тѣмъ все больше думаю.... Странное созданіе человѣкъ!

3 февраля.

Сегодня я проснулся; мой Иванька стоитъ у пастели моей и плачетъ.

— О чѣмъ ты плачешь? — спросилъ я его.

— Ничего, — отвѣчалъ онъ, смѣшавшись; — такъ.

— Быть не можетъ; развѣ ты боишься сказать мнѣ?

— Вотъ видите что. Вы спали, а я смотрѣлъ на васъ, да мнѣ даже страшно стало: лежите вы блѣдные, ни кроинки въ лицѣ, словно мертвый; щеки запали, на рукахъ хоть кости считай!... Такой ли вы были дома, какъ пріѣхали изъ лицея, подумалъ я, кровь съ молокомъ!... Бывало, смѣетесь, такъ въ пятой горницѣ слышно, а какъ сидите на коня, на черкеса, да какъ пуститесь по степи, ястреба васъ, бывало, не обгонятъ!... А теперь что?... Ни живой, ни мертвый, голосу не отведете. И зачѣмъ мы пріѣхали въ этотъ Петербургъ? что тутъ хорошаго? Я съ первого дня покачаѣ головою, какъ нарядили васъ въ узкія нѣмецкія брюки. Сейчасъ увидѣлъ, что тутъ толку мало.... Сколько вотъ служите, а и эполетовъ не даютъ вамъ. А знаете что?

— А что, Иванька?

— Поѣдемъ домой, поѣдемъ въ наши степи. Тамъ у насъ весело, тамъ широко, привольно, много полей, много всякаго хлѣба, много плодовъ — всего довольно. Чего намъ искать здѣсь? Что мы потеряли? Выздоровливайте, да поѣдемъ скопѣ!... Станете гулять по степи, стрѣлять дичь, опять станете веселы.... Дасть Богъ женитесь, а тутъ ей Богу, вы умрете.

И добрый Иванька плакаль и цѣловалъ мои руки....

— Полно, Иванька, перестань, я и самъ думаю ъхать.

— И слава Богу! Заживемъ опять дома, уѣдемъ отсюда: что это за городъ! безъ гроша воды не дадутъ напиться, а войдешь въ лавочку, тотчасъ бороды на смѣхъ подымутъ: и „хохоль голоухій“, и то и другое.... Богъ съ ними!

6 февраля.

Я изъ департамента получилъ записку, въ которой экзекуторъ, по приказаніи начальства, приглашаетъ меня сегодня же явиться на службу, а въ случаѣ невозможности — прислать просьбу объ увольненіи. Далѣе говорится, что я только занимаю мѣсто, безпрестанно боленъ, отчего останавливается теченіе дѣлъ: другой, дескать, быль бы полезнѣе на моемъ мѣстѣ. Я съ радостью написалъ просьбу и отправилъ.

7 февраля.

Мой Иванька разсуждалъ благоразумно. Чѣмъ я тутъ буду дѣлать? Пойду въ деревню. Матушка одна: ей надобно пособить въ управлѣніи имѣніемъ, пристроить братьевъ и сестеръ. Рѣшено: завтра же пишу къ матушкѣ, чтобы выслала денегъ на прогоны, да и расплатиться здѣсь: я въ болѣзнь задолжалъ таки порядочно — и прощай Петербургъ, въ тебѣ очень холодно.

Иванька съ утра поетъ въ полголоса свои родныя пѣсни и собирается въ дорогу; ему кажется, будто мы завтра должны выѣхать; я и самъ цѣлый день мечталъ о тихой деревенской жизни.... Иногда мнѣ приходило на мысль: не будетъ ли воспоминанія о ней тревожить меня въ мѣстахъ, бывшихъ свидѣтелями первой любви нашей? Нѣтъ я уже простилъ ее!

Кто сердцу юной дѣвы скажетъ:  
Люби одно, не измѣнись!...  
Утьшься, другъ! — она дитя.  
Твое унынье безразсудно:  
Ты любишь горестно и трудно  
А сердце женское — шутя....

Эти стихи великаго серцевѣдца нашего, Пушкина, примѣрили меня съ нею, обвѣяли тишиною тревожную мою душу. Мнѣ жаль даже кольца: зачѣмъ я его бросилъ, да еще въ такую скверную тину! оно бы мнѣ напоминало лучшія минуты въ жизни, которая даровала мнѣ судьба; не всегда же быть человѣку вѣчно счастливому:

Порою всѣмъ дается радость;  
Что было, то не будетъ вновь.

Нѣть, я былъ злымъ человѣкомъ въ минуту, когда бро-  
силъ перстень въ Мойку.... Спасибо Пушкину, онъ успокоилъ  
меня. Какой-то, чуть-ли не греческій, балагуръ сказалъ,  
что поэта должноувѣнчать и выпроводить изъ города. Же-  
лаль бы я посмотрѣть въ лицо этому мудрецу; оно должно  
быть нелѣпѣе сузdalской картинки.

8 февраля.

Сегодня я только что сталъ писать домой о своей от-  
ставкѣ и о высыпкѣ мнѣ денегъ на прогоны, какъ Иванъ-  
ка подаль мнѣ письмо съ почты. Со смерти отца я не полу-  
чалъ ни одного пріятнаго письма, и какъ прежде, бывало  
бываетъ сердце отъ радости, какъ увидишь киверъ почталь-  
она, такъ теперь трепещетъ оно отъ какого-то темнаго  
предчувствія. Я взялъ письмо и даже боялся его распеча-  
тать; почеркъ Сутяговскаго—странное дѣло! „Теперь уже  
я не поѣду,“ сказалъ я Иванъ-ку, пробѣжавъ письмо: „а  
ты одинъ будешь дома....“ Онъ робко посмотрѣль на меня,  
какъ бы стараясь прочесть что-нибудь въ глазахъ моихъ,  
и когда я прочелъ ему письмо Сутяговскаго, громко за-  
кричалъ: „Этому не бывать! я уйду съ первой станціи!“

„Милостивый государь,

„Яковъ Петровичъ!

„Любя васъ и уважая память покойнаго родителя ваше-  
го, я спѣшу извѣстить васъ о непріятномъ положеніи дѣль  
вашихъ: г. Ивановъ оказался несостоятельнымъ по причи-  
нѣ различныхъ неудачъ въ соляной операциї, и ваше имѣ-  
ніе, бывшее по сему случаю въ залогѣ, продано съ пуб-  
личнаго торга. Я, какъ ближайшій сосѣдъ, не хотя пустить  
его въ незнакомыя руки, купилъ оное и законнымъ обра-  
зомъ введенъ во владѣніе; но, разматривая ревизскія  
сказки, я не отыскалъ въ наличности одного человѣка,

Ивана Добряка; а какъ по справкамъ оказалось, что онъ мой крестьянинъ, Иванъ Добрякъ, находится у васъ въ ус-луженіи, то я и отнесся въ санктпетербургскую поліцію о высылкѣ означеннаго Ивана на мой счетъ по этапу, и не желая огорчить васъ нечаянностью, рѣшился писать къ вамъ объ этомъ. Впрочемъ, уважая память покойнаго ва-шего батюшки, я ничего не стану требовать съ васъ за услуги означеннаго моего крестьянина, до отправленія его изъ Петербурга, надѣясь, что вы, съ вашей стороны, не оставите за сіе снадбить его на дорогу приличнымъ плать-емъ. Я полагаю, что вы, какъ человѣкъ ученый всякимъ наукамъ, не станете скорбѣть о потерѣ пустого имѣнія. Блага земныя непрочны, и въ свѣтѣ все такъ дѣлается, какъ сказано въ новѣйшихъ россійскихъ прописяхъ: „Вся-кій въ свою очередь является на сцену и сходитъ съ нея.“ Я учился по этой прописи и теперь мой сынокъ Павлуша ее пишеть. За симъ, при желаніи вамъ всѣхъ благъ, имѣю честь быть вашимъ покорнымъ слугою.

„И. Сутяговскій.“

183... года. января 24.

С. Грабуново.

Принадлежитъ библіотекѣ  
Л. ИДЗИКОВСКАГО

9 февраля.

Сегодня получилъ письмо отъ матушки. Она пишеть, что когда Ивановъ объявилъ себя банкротомъ, Сутягов-скій пріѣхалъ къ ней, уговорилъ ее не писать объ этомъ ничего мнѣ, чтобы не потревожить меня—какое человѣко-любіе!—а самъ Сутяговскій плакалъ передъ нею, говоря, что и онъ немножко виноватъ въ этомъ, совѣтовавъ покой-нику дать залогъ Иванову и, сознавая свою ошибку, самъ побѣхалъ хлопотать объ этомъ въ губернскій городъ, отку-да возвратился уже владѣтелемъ нашей деревни. Сама же матушка съ дѣтьми, не желая пользоваться ничьимъ сни-

схожденiemъ, наняла въ городъ у одного мѣщанина небольшой домикъ и живетъ кое-какъ. Нашъ домъ занялъ какой-то шляхтичъ, управитель Сутяговскаго.

16 февраля.

Иванька отправился по этапу. Тяжело было мнѣ разстаться съ нимъ: онъ у меня былъ одно существо, съ которымъ я могъ дѣлить радость и горе; онъ понималъ меня, сочувствовалъ мнѣ, когда я говорилъ о родинѣ.... Теперь я одинъ, сирота въ шумномъ городѣ!... Прощаюсь, я уговорилъ Иваньку не бѣгать ни съ первой, ни съ какой станціи, совѣтовалъ честно служить новому господину, и мы разстались.... Чрезъ четверть часа опять входить Иванька въ комнату.

— Что тебѣ надобно?

— А вотъ, баринъ, я нечаянно унесъ вашъ ножикъ: онъ былъ у меня въ карманѣ, да я такъ и ушелъ; вспомнилъ дорогою, да такъ стало совсѣмъ, что подумаете, можетъ быть, будто я нарочно взялъ его. Едва уговорилъ солдата воротиться къ вамъ на минуту.

Онъ подалъ мнѣ ножикъ; руки бѣднаго Иваньки дрожали, крупные слезы падали на землю.

Еще разъ обнялъ я моего доброго слугу, и болѣе уже не видалъ его.

17 февраля.

Теперь я долженъ остаться въ Петербургѣ, долженъ работать, жить скромно, долженъ сколько-нибудь помочь моему бѣдному семейству: я не допущу, чтобы матушка, добрая матушка, которая такъ любить меня, дожила до необходимости питаться трудами рукъ своихъ. Я не напрасно учился; здѣсь много пансіоновъ, отыщу себѣ гдѣнибудь мѣсто—надѣюсь, что мой аттестатъ будетъ уваженъ учеными людьми—и стану передавать свои знанія молодымъ людямъ. Мнѣ кажется, нѣтъ святѣй этой обязанности.... Я понимаю науку не какъ сухое собраніе правилъ, которыхъ долженъ задолбить себѣ въ голову бѣдный

ученикъ—нѣтъ, наука, по-моему, есть извѣстная форма, посредствомъ которой мы передаемъ молодымъ умамъ живую идею, обогащая умъ знаніемъ и вмѣстѣ согрѣвая душу любовью къ прекрасному, высокому.... А прежде всего мнѣ нужно расплатиться съ долгами.

20 февраля.

Мебель, часы и всѣ лишнія вещи проданы; денегъ было довольно, а какъ расплатился съ долгами, и въ аптеку, и за квартиру, и за то, и за другое—осталась въ карманѣ двадцати-пяти-рублевая ассигнація и гривенникъ; на эти деньги не раскутишься, а пока мѣста нѣтъ.... Сегодня же поищу квартиру и завтра переѣду на нее. Говорить, должно искать дешевую квартиру на Петербургской сторонѣ.

24 февраля.

Едва отыскалъ квартиру по своимъ деньгамъ—все дороги. Теперь моя резиденція въ Теряевой улицѣ на Петербургской сторонѣ. Кто бывалъ на Петербургской сторонѣ, на Большомъ проспектѣ, или около кадетскихъ корпусовъ, тотъ не имѣть никакого понятія о характерѣ Теряевой улицы: тамъ аристократія Петербургской стороны, здѣсь чистый плебесъ; тамъ домики довольно опрятные, выкрашенные,—здѣсь мрачнаго, желѣзного цвѣта; тамъ вы иногда увидите и солиднаго чиновника, єдущаго на своей лошадкѣ, и атласный салопъ, иногда услышите звуки фортепьяно, если погода позволяетъ открыть окошко; иногда на улицѣ наступите ногою на сотерновую пробку или на листокъ газеты,—здѣсь подобный вещь баснословіе! Тишина изумительная; въ шесть часовъ на улицѣ нѣтъ живой души; съ вечера упадеть снѣжокъ, а утромъ вы увидите подъ вашими окнами свѣжіе слѣды волка!... Можетъ быть лѣтомъ будетъ веселѣе.

Я занимаю маленькую комнату отъ жилицы, за 15 рублей ассигнаціями, со столомъ, на условіи, учить грамотѣ семилѣтняго сына Ваську. Хозяйку мою зовутъ Анисья

Карповна, а домъ принадлежитъ какому-то отставному арапу. Впрочемъ, онъ человѣкъ бѣлый: я его разъ видѣлъ.

2 марта.

Цѣлую недѣлю ходилъ по пансіонамъ—и вездѣ отказъ. Всѣ спрашиваются: кто рекомендовалъ вась? Былъ и у т-г Куку, и у т-г Коко, и у т-те Шнейбахъ, и у т-те Гольцкопфъ, и у пана Ютржицкаго, и у десятаго, и у двадцатаго—не береть!... Одинъ посыаетъ къ другому, другой—къ третьему.... Еще попытаюсь; говорять, гдѣ-то за Черною рѣчкою есть, на болотѣ, пансіонъ отставнаго капитана Лисицына, и у него всегда найдешь вакансію, лишь бы подешевле.

„Уживетесь ли вы съ нимъ долго—за это не отвѣчаемъ: у него никто больше мѣсяца не выживетъ, а принять-то, онъ приметъ“—такъ говорили люди о Лисицынѣ. Люди не всегда правду говорятъ, и иногда охотнѣе скажутъ дурное, нежели хорошее, я думаю; притомъ же не умирать мнѣ съ голоду; пойду въ пансіонъ на болотѣ.

4 марта.

Договоръ съ Лисицынымъ сдѣланъ. Я вотъ уже недѣлю учу его школу читать, писать и ариѳметикѣ за 50 рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ. Я долженъ быть въ пансіонѣ каждый день съ семи часовъ утра до двѣнадцати, и съ двухъ часовъ до семи вечера; а опаздаешь минуты двѣ-три—все Лисицынъ записываетъ и, при окончаніи мѣсяца, слагаетъ минуты въ часы и, по расчёту, вычитаетъ изъ жалованья.

Незавидна моя участъ: съ утра до ночи толковать безмозглымъ шалунамъ одно и то же, толковать имъ изъ посльднихъ силъ, что дважды-два—четыре и замѣтать, что слушатели въ это время или спятъ, или рисуютъ съ меня каррикатуры, между тѣмъ, каждый день выносить невыносимо-холодный и презрительный взглядъ съдного капитана Лисицына, регулярно каждый день слышать одну и ту же фразу: „У васъ мало старанія! Получая деньги, надобно заниматься дѣломъ!...“ Надменный человѣкъ! будто я не понимаю своихъ

обязанностей.... Видно, онъ провелъ свой вѣкъ, обучая речи!... О, деньги, деньги! сидите вы у меня на сердцѣ.

Говорить, бѣдность не порокъ. Безсовѣстная ложь: порокъ бѣдность, ужасный порокъ, отлучающій человѣка отъ общества, кладущій печать отверженія на лицо человѣка, убивающій душу и тѣло!... Одна религія спасаетъ меня.... Благословляю минуту, въ которую она озарила меня истиннымъ свѣтомъ Евангелія.... Придешь домой съ душою истерзанною, съ тѣломъ истомленнымъ, станешь на колѣни предъ образомъ Спасителя, простишь обиды гордому человѣку — и не вѣдаешь бо что творить — и слезы и молитвы текутъ изъ успокоенного сердца, и всѣ печали отлетятъ отъ тебя, и станетъ свѣтло и легко на душѣ, и духъ и тѣло укрѣпятся на завтра, на новую битву съ жизнью, на новыя страданія....

5 апреля.

Мѣсяцъ прошелъ. Я получилъ жалованье. Съ меня вычли рубль пять копеекъ — отняли сухарь у нищаго!... Изъ этихъ денегъ пошли красную ассигнацію матушкѣ....

27 мая.

Настала весна и мученія мои умножились: на дачи наѣхало пропасть празднаго народа и, гуляя отъ нечего дѣлать, всякая сволочь заходитъ въ пансіонъ. Лисицынъ сейчасъ начинаетъ экзаменовать воспитанниковъ, для поддержанія славы заведенія. Приходящіе отъ скучи даютъ Лисицыну разные соѣтствія, а онъ сейчасъ же приводить ихъ въ исполненіе....

Бѣда учить русскому языку! Каждый лавочникъ, умѣя записать расходъ и приходъ, воображаетъ, что онъ знаетъ русскій языкъ! и каждый лавочникъ — смѣю васъ увѣрить — дастъ какой нибудь безтолковый совѣтъ касательно русского языка, только попросите его. Начнешь опровергать какую нибудь нелѣпость. Лисицынъ сдвинетъ сѣдыя брови и скажетъ такую любезность, что всѣ внутренности перевернутся; а молчишь.... О бѣдность!

16 июля.

Лѣто не веселитъ меня, даже ни разу я не былъ на островахъ.... Богъ съ ними! Тамъ все такія веселыя лица.... Погода непостоянная: то жаръ нестерпимый, то холодъ съ дождями. Придешь изъ пансиона, поучишь Ваську, помолишься—и спать пора.... Моя хозяйка очень добрая баба; ей лѣтъ за пятьдесятъ, была замужемъ за солдатомъ, три года какъ овдовѣла и живеть одна съ сыномъ, занимаясь мытьемъ бѣлья.

2 сентября.

Приходитъ осень; падаютъ листья, вечера дѣлаются длиннѣе, по утрамъ морозъ бѣлѣтъ по заборамъ. Моя грудь начинаетъ опять болѣть; я два дня не былъ въ пансионѣ—не могъ дойти туда: въ ногахъ тяжело и во всемъ тѣлѣ какая-то слабость, все спать хочется. На третій день Лисицынъ прислалъ мнѣ отказъ, извѣщаая, что онъ не намѣренъ содержать богадѣльню, что больной человѣкъ, не принося пользы, наносить уже вредъ. При концѣ онъ прибавилъ, что отказывается мнѣ не изъ каприза, но подолгу, и весьма обо мнѣ сожалѣть.

Я замѣтилъ, что Лисицынъ не такъ золь отъ природы, какъ выказываетъ въ своихъ поступкахъ. Онъ прочелъ „Исторію Наполеона“, замѣтилъ, что тотъ часто, для пользы государственной, ставилъ въ ничто цѣль жизнѣ и счастіе одного человѣка, и сталъ примѣнить это къ своему пансиону.... Слабость человѣческая; онъ даже и руки складываетъ *à la Napoleon*. Богъ ему судья!

Анисья обѣщала мнѣ отыскать работу: переписывать что нибудь; она моетъ бѣлье на какого-то сочинителя. Спасибо, хоть та польза отъ моей службы въ департаментѣ, что выучился четко писать. Работать нужно. Послѣднія деньги я отправилъ къ матушкѣ, въ надеждѣ на жалованье изъ пансиона. Чѣмъ стану жить, чѣмъ заплачу за квартиру? а обременять собою добрую старушку-хозяйку я не намѣренъ.

4 сентября.

Былъ сочинитель, это—Единороговъ, которого я видѣлъ у дядюшки. Онъ не узналъ меня—и къ лучшему! Онъ мнѣ привезъ свое сочиненіе

— Будетъ ли имѣть эта книга успѣхъ? — спросилъ я.

— Невѣроятный; я ее посвящаю одному важному лицу— и я въ барышахъ. Для этого вотъ вамъ четыре печатныя книги; вы выпишите только изъ нихъ въ одну общую тетрадь все, что отмѣчено карандашомъ—и книга составится.

— А эта тетрадь? — спросилъ я.

— Здѣсь ничего нѣтъ, кромѣ заглавія; вы въ эту тетрадь и выписывайте. Надѣюсь, что мы останемся довольны другъ другомъ. Современемъ я похлопочу о васъ; графъ Б., графиня С., баронъ П. и всѣ за васъ постараются — это все мои друзья; а между прочимъ, позовите спросить, чтобы вы берете съ листа?

Этотъ вопросъ сбилъ меня съ толку; я покраснѣлъ и едва могъ сказать:

— Я не знаю; чтобы вы другимъ платите?

— Я моему писарю плачу сорокъ копеекъ мѣдью съ листа.

— И я на это согласенъ.

— Но, позовите, любезнѣйшій, тотъ пишетъ съ писанаго—это труднѣе, а вы будете писать съ печатнаго: здѣсь нѣтъ никакой трудности—читай себѣ и пиши! Поэтому, я надѣюсь, вы возьмете по 35-ти копеекъ съ листа?

— Пожалуй.

— Еще одно условіе: чтобы завтра къ вечеру все было готово; я долженъ поднести мою книгу его превосходительству въ день его рождения. Прощайте, тороплюсь на завтракъ къ князю Прохору Иванычу.

Единороговъ уѣхалъ на прекрасной парѣ собственныхъ лошадей.

5 сентября.

Сегодня къ вечеру я окончилъ работу, но уже не могъ самъ

отнести ее: моя грудь разболѣлась — и не удивительно: я написалъ въ сутки около тридцати листовъ. Кровь сильно показалась изъ горла. Холодно, а голова горитъ. Лягу въ постель.

6 сентября.

Я слегъ. Анисья принесла мнѣ отъ Единорогова деньги, безъ гравенника: „тѣ, сказалъ, послѣ отдашь: мелочи нѣть. На долго ли станеть этихъ денегъ? а мое здоровье все хуже и хуже. Анисья — добрая баба, а никакъ не соглашается топить у меня въ комнатѣ. „Богъ съ тобою“ говорить: „теперь еще начинаются утренники, а тебѣ, кормилицѣ, топи печку! Что же зимой дѣлать?“ Хорошо ейходить съ утра до вечера въ своей голубой шубѣ<sup>5</sup> ей тепло.

8 сентября. Утро.

Вѣрно я крѣпко боленъ: Анисья безъ моей просьбы истопила печку и пошла за докторомъ, какъ говорилъ Васька.

Вечеръ.

Къ вечеру пришла Анисья, ругая наповалъ всѣхъ докторовъ: „Экіе они какіе!“ ворчала старуха: „которому ни разскажу о тебѣ, всѣ говорятъ: „некогда бабушка.“ Въ-силу отыскала одного и оставила адресъ.<sup>6</sup>“

Часа черезъ два пріѣхалъ докторъ — мальчикъ лѣтъ восемнадцати; онъ очень важно вошелъ, поговорилъ со мною издалека, безпрестанно нюхая какія-то капли, будто я лежалъ въ чумѣ, сказалъ словъ пять по-латинѣ и увѣрялъ, что это латинщина моя болѣзнь; потомъ прописалъ рецептъ на полулистѣ, приказалъ принимать микстуру (которая должна родиться изъ его рецепта) чрезъ часъ по ложкѣ, и уѣхалъ, объявивъ Анисьѣ, что въ другой разъ онъ ни за что въ свѣтѣ не пріѣдетъ въ такую чертовскую даль.

4 октября.

Вотъ уже мѣсяцъ я лежу въ постели, и все въ одинаковомъ положеніи: ни лучше, ни хуже. Не будь я слабъ, я

былъ бы совсѣмъ совершенно здоровъ. На дворѣ октябрь; грязно, сырьо; у меня надѣ постелью появилась течь; въ комнатѣ тяжело пахнетъ глиной. Вчера продалъ послѣднюю книгу „Сочиненій Пушкина,“ подаренную мнѣ въ лицей за успѣхи въ наукахъ.

7 октября.

Сегодня отдалъ старый серебряный рубль Петра Великаго, именинныи подарокъ моей матушки, когда я еще былъ ребенкомъ. Двадцать лѣтъ я носилъ его съ собою; онъ былъ мнѣ вдвойнѣ дорогъ — какъ память матушки и память о великомъ государѣ. Впрочемъ, я его отправилъ въ лавочку, съ уговоромъ выкупить современемъ. Немного оправлюсь, и хоть стану дрова рубить, а достану денегъ на выкупъ.

8 октября.

Какой-то поэтъ сказалъ, что юноша вступаетъ въ свѣтъ въ вѣнкѣ изъ прелестныхъ цвѣтовъ. Человѣкъ живетъ — и опытъ неумолимою рукою обрываетъ на вѣнкѣ, одинъ за другимъ, всѣ цвѣты; остаются подъ конецъ только засохшіе стебельки, которые, какъ терны, мучатъ человѣка. Въ этомъ вѣнкѣ онъ сходитъ въ могилу.... Давно ли я смотрѣлъ на жизнь какъ на веселый праздникъ! Всѣ люди были мнѣ пріятелями, всѣ дѣвушки казались чистыми, непорочными Сильфидами. Я былъ окружены родными: отецъ, матушка, братья любили меня.... она — горькое воспоминаніе! — такъ жарко клялась въ безпредѣльной любви, въ вѣрности до гроба.... мнѣ совѣстно за нее! И все исчезло, прошло какъ сонъ, какъ разлетается отъ вѣтра позолоченная гора облаковъ.... Я имѣлъ достатокъ и могъ помочь ближнему, а теперь моя матушка въ бѣдности, и я не могу помочь ей! Самъ лежу безъ куска хлѣба, одолженъ существованіемъ милостынѣ отъ бѣдной солдатской вдовы!...

Часто смотрю по цѣлымъ часамъ въ окно; у самого окна стоитъ береза; на черныхъ безлистыхъ вѣтвяхъ ея трепещетъ запоздалый, блѣдный листочекъ.... Гдѣ его то-

варищи, съ которыми онъ такъ сладко шептался въ знойные часы лѣта? ихъ давно умчалъ холодный вѣтеръ; онъ одинъ остался сироткою, и тихо лепечетъ между вѣтвями свои жалобы, пока порывъ бури не умчитъ его туда,

Куда и листъ лавровый мчится  
И легкій розовый листокъ!...

Мнѣ жалко бѣднаго листочка: его moetъ осенній дождь и нѣть товарища прикрыть его.... защитить его. Его судьба похожа на мою. Я люблю его: онъ мнѣ родной.... А далѣе, тамъ, за березою, несутся по небу сѣрыя тучи, одна другой темнѣе, мрачнѣе, тяжелѣе!... И день и ночь грустно тянутся онъ, какъ погребальное шествіе за гробомъ прекраснаго лѣта. Куда летить онъ, гонимыя буйнымъ вѣтромъ? и зачѣмъ летять онъ?... Въ этомъ туманномъ небѣ, обремененномъ тяжелыми тучами, въ этомъ тоскливомъ вѣтра, какъ въ зеркалѣ, отражается душа моя. Мнѣ любо слушать и созерцать грустную природу.... Современемъ вѣтеръ перенесеть облака, опять засвѣтить солнце — и міръ оживеть снова; а я?.... Кто знаетъ, можетъ быть, мнѣ придется сказать съ Жильберомъ:

Je meurs, et sur la tombe ou lentement j'arrive,  
Nul ne viendra verser des pleurs.  
Salut, champs que j'aimais, et vous, douce verbure,  
Et vous riant exil de bois!  
Ciel, pavillon de l'homme, admirable nature,  
Salut pour la derni re fois...

Во всякомъ случаѣ будущее отрадно—если не здѣсь, то тамъ, гдѣ нѣть ни печали, ни воздыханія, тамъ отдохну отъ страданій....

16 октября.

Какъ благодѣтельна природа! При однообразномъ моемъ положеніи, при нестерпимой скучѣ, которая ѿстъ меня, какъ ржа желѣзо, она мнѣ даровала какую-то способность дремать; стоитъ только закрыть глаза—сейчасъ передо мною чудесныя картины: горы, лѣса, рѣки; все живеть, движется,

говориgь, поетъ.... невыразимо пріятно! А между тѣмъ я слышу шаги Анисы, или частый стукъ дождя по оконнымъ стекламъ.

Болѣе всего мнѣ представляются картины моего дѣтства. Кажется, утро. Солнце только что поднялось надъ землею; вездѣ блеститъ роса; мы съ сестрою выбѣжали въ садъ и ёдимъ клубнику. Ягоды такія крупныя, сочные.... „Стыдно, дѣти, Ѳеть безъ спросу ягоды!“ говорить маменька, отворяя окошко. — Мы такъ и сгорѣли отъ стыда!... Бѣжимъ въ комнаты, а навстрѣчу намъ папенька: „Куда, дѣти, ко мнѣ; на шею!“ И мы бросились цѣловать его.... Вотъ мы всеѣ ёдемъ по степи въ линейкѣ, а вокругъ столько цвѣтковъ. да такіе душистые.... Мы дѣти, побѣжали срывать цвѣты—такъ весело! на цвѣтахъ садятся и ползаютъ хорощенькие жучки—и золотые, и серебряные, и красные.... Я подбѣгаю къ кусту ракиты.... порхъ изъ куста птица и полетѣла, свистя крыльями. „Какая это птица, папенька?“ — „Стрепетъ“. — „Ухъ, какое страшное название! слава Богу, она далеко улетѣла.“ — „Ты трусь!“ говорить папенька. „Нѣть, и не трусь, посмотрите“—и я иду къ ракитѣ, толкаю густъ ногою, а сердце такъ и бьется, такъ и кажется, еще вылетѣть другой стрепетъ. Иногда въ нѣсколько минутъ выростаешь и вотъ я казачій офицеръ, стою у оконика и слушаю дуэтъ школьнниковъ на шелковицѣ, а между тѣмъ думаю: „любить ли она меня?“ Является она, полна невинности, очаровательно хороша, улыбается мнѣ и даетъ цвѣтокъ камелии; я хочу обнять ее.... скрипнула дверь, я открылъ глаза—все улетѣло: и цвѣты, и сады, и чистое небо, и зелень лѣсовъ, и милыя лица....

Опять дышешь гнилымъ воздухомъ, видишь сырья, грязные стѣны. За окнами шумитъ дождикъ, и одинокій желтый листочекъ дрожитъ и трепещетъ отъ вѣтра на обнаженной вѣткѣ. Закроешь глаза—и снова являются знакомые образы, и снова душа полна блаженства. Такъ проходятъ мои дни и ночи.

20 октября.

Поутру я смотрѣлъ въ окно и не видѣлъ уже желтаго листочка: онъ улетѣлъ куда-то темною ночью, и уже не кланяется мнѣ такъ привѣтно.... еще я осиротѣлъ болѣе. Писемъ изъ дома нѣть; хоть бы еще разъ увидѣть руку матушки, поцѣловать ея строки! А тучи идутъ по небу мрачище вчерашняго....

21 октября.

Сегодня я всю ночь бесѣдовалъ съ батюшкою.

— Скажите, пожалуйста,—говорилъ я ему:—вы живы и здоровы и даже попрежнему веселы, а мнѣ писалъ Щука-Окуневскій, что будто вы умерли.

— Нѣть, мой другъ, это неправда,—отвѣчалъ батюшка.

— Я такъ и думалъ. Старый сплетникъ Окуневскій вѣчно лжетъ.

— Не брани человѣка; можетъ быть, такъ надобно было.

Я началъ думать и убѣдился, что Окуневскій правъ, что иначе сдѣлать было нельзя, какъ написать ко мнѣ такое письмо. Послѣ долго мы говорили со старикомъ. Вошла Анисья— и видѣніе исчезло; но я ясно слышалъ слова „до свиданія!“ и за Анисьей въ темномъ углу что-то кивнуло мнѣ головой.

— Кто здѣсь былъ?—спросилъ я у Анисьи.

— Никого, батюшка; ты бредишь!

Я не хотѣлъ спорить съ доброю женщиною, а попросилъ придинуть ко мнѣ столикъ и подать мою памятную книжку.

— Куда тебѣ писать!—сказала она, покачивая головою:— чай пера въ рукахъ не удержишь. Однако подала, и я пишу-пишу, а писать не хочется — такъ очаровательны видѣнія! такъ и хочется закрыть глаза.... Допишу послѣ.... чудесныя видѣнія.... вотъ батюшка.... вотъ еще кто-то.

Недавно я былъ въ Большомъ театрѣ. Давали „Озеро Волшебницъ.“ Театръ былъ полонъ. Волшебница Тальони, обвивъ рукою рѣзвую Шлефохтъ, неслась по сценѣ въ живомъ галопадѣ. Вотъ онѣ летятъ къ зрителямъ: минута — и удаляются въ глубину сцены, подъ прихотливые звуки оркестра, восхитительно улыбаясь, сладострастно мани руками какого то счастливца. Восторгу не было границъ, театръ дрожалъ отъ браво....

— Какъ вамъ правится нашъ театръ? — спросилъ одинъ мой знакомый у толстаго человѣка съ огромными усами, сидѣвшаго рядомъ со мною въ креслахъ.

— Изрядно! — отвѣчалъ толстякъ.

— Кто этотъ жирный чудакъ? — въ свою очередь спросилъ я, въ антрактѣ, знакомаго: — этотъ толстякъ, съ которымъ говорилъ ты?

— Извѣстный человѣкъ, даетъ чудесные обѣды! Откупщикъ Ивановъ.

— Онъ не здѣшній, какъ видно?

— Да, онъ недавно пріѣхалъ изъ....

— Мне кажется, онъ былъ банкротомъ?

— Богъ его знаетъ! впрочемъ, онъ выдалъ свою дочь замужъ за какого-то секретаря и обдѣлывается всѣ дѣла подъ его именемъ. Да мнѣ что за дѣло. Онъ славный малый; простовать немнога, немнога материаленъ, а обѣды даетъ поэтическіе. Хочешь, я тебя завтра представлю къ нему прямо въ столовую? По рукамъ, что ли?

— Ни за что въ свѣтѣ!

1840 г.

Чайко, это былъ итальянскій писатель, который  
вокругъ себѣ имѣлъ чрезвычайно много  
имени этого рима: Симонетти, Мария  
Сердженти, Симонетти, Симонетти, Мария  
Симонетти, Симонетти, Мария Симонетти, а  
какъ позже я узналъ, писалъ подъ  
псевдонимомъ. Въсю же чрезвычайно  
много читалъ Чайко, и я въсю же  
былъ имъ. Много читалъ Чайко, и я въсю же

Принадлежитъ библиотекѣ  
Л. ИДЗИКОВСКАГО  
и продана быть не можетъ.

## ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ЗАЙЦА.

— Очень любопытно имѣть дойнью корову и получать отъ нея молоко.

— Да-съ, всѣ животныя очень любопытны.

А. Кокамбо.

### ПРЕДИСЛОВИЕ.

Основьяненко сказалъ великую истину, что все на свѣтѣ измѣняется: теперь уже и политика не та, и архитектура не та, и обычаи, и настойки — все измѣнилось! Съ этимъ легко всѣ согласятся; но вы не повѣрите, какъ измѣнилось просвѣщеніе: мы сдѣлались энциклопедистами, судимъ, ридимъ обо всемъ поверхности, торопимся жить, спѣшимъ освободиться изъ рукъ доброй, заботливой няни, чтобы поскорѣе надѣться университетскій мундиръ; не успѣемъ порядочно прослушать двухъ лекцій профессора — уже его осуждаемъ, уже онъ намъ наскучилъ, насытъ тяготять наши познанія, и мы мѣняемъ шагу студента на мечь воина или на покойное мѣсто въ департаментѣ.... И вотъ является въ свѣтѣ новый гражданинъ, новый членъ общества; ему только 17 лѣтъ, но у него высшіе взгляды, у него запасъ свѣтскихъ идей, куча свѣдѣній!... Привѣтствую васъ, новый членъ общества, желаю вамъ всякаго благополучія и — отхожу отъ васъ подальше. Мы люди простые: наше дѣло сторона!..

Не такъ учились ветарину; я еще помню многихъ стари-

ковъ изъ сосѣдей моего отца, которые были люди небогатые, а окончили курсъ въ разныхъ иностранныхъ университетахъ. Бывало, если родители замѣтятъ въ сынѣ наклонность къ наукамъ, то отдаютъ его въ киевскую академію учиться; учится долго птенецъ, лѣтъ пять брѣтъ бороду, а все учится, и, наконецъ, получивъ аттестатъ, является въ домъ отца.

— А зачѣмъ ты пришелъ? — спрашиваетъ отецъ.

— Окончилъ всѣ науки.

— Такъ ты уже все знаешь?

— Все, чѣму учили.

— Врешь, ты ничего не знаешь, ты дуракъ. Отдохни съ недѣлю, да ступай во Львовъ поучиться, я тебѣ дамъ для этого два червонца.

Долго ли идетъ недѣля, особливо въ домѣ родителей? Вотъ ея какъ не бывало, и молодой студентъ вышелъ изъ родного села, напутствуемый благословеніемъ отца и матери; въ его ушахъ отдаются послѣднія слова: „будь добръ и честень.“ На черномъ казакинѣ студента еще блеститъ прощальная слеза матери; у него въ карманѣ звенятъ два червонца; во рту дымится походная трубка; сердце полно грусти, голова — чудныхъ замысловъ.... На крыльцѣ стоитъ старушка-мать, и дрожащею рукою крестить ему дорогу; за темномъ кустомъ бузины мелькаетъ красная лента и сверкаютъ въ слезахъ черные глаза мозодой казачки; ей совѣстно показать передъ людьми любовь свою.

А студентъ все идетъ.... И вотъ уже его невидно.... Долго еще въ убогомъ сельскомъ храмѣ предъ иконою скорбящей Богомагери ставила свѣчи старуха-мать и жарко молиласъ и клала земныя поклоны; долго молодая казачка цѣлья но-чи плакала, ходя по зеленому саду.... А студентъ во Львовѣ учится, учится, кончаетъ курсъ, и уже безъ помощи узнаеть, что онъ — почти ничего не знаетъ; посѣщаетъ Кенигсбергъ, Лейпцигъ, вездѣ получаетъ ученые дипломы и возвращается на родину образованный и въ школѣ науки и въ школѣ горькихъ опытовъ. Не въ обиду будь нами сказано, эти старики куда больше насть знали! Мы, если

знаемъ два-три иностранные языка, хоть бы и плохо понимали свой, русскій, сейчасъ кричимъ: и Шекспиръ не то, и Байронъ не такъ, и Гете не годится, и того передѣлаемъ, и это поправимъ; это по-китайски не такъ, сіе по-санскритски невозможно! Намъ ли, дескать, не знать? мы все знаемъ, насть всѣ знаютъ!... Поневолѣ вспомнишь золотой стихъ:

А онъ дивить  
Свой только муравейникъ!...

Нѣтъ, господа! вотъ я вамъ разскажу про моего двоюроднаго дѣдушку: онъ, можно сказать, былъ представителемъ ученыхъ блаженнаго старого времени—разумѣется, по моему крайнему разумѣнію; онъ всегда говорилъ: „я ничего не знаю, а въ этомъ-то и вся мудрость!“ Чего онъ не зналъ, Боже мой!...

Не стану говорить здѣсь о его глубокихъ познаніяхъ во всѣхъ наукахъ; умолчу о способности рѣшать ариѳметическія задачи римскими и арабскими цифрами; но не могу вспомнить его даръ говорить на всѣхъ возможныхъ языкахъ. Да, милостивые государи! дѣдушка былъ, кажется такъ-себѣ человѣчекъ, штучка небольшая: ходить лѣтомъ по саду въ бѣломъ холстинномъ сюртукѣ и соломенной шляпѣ; изъ-подъ которой какъ хвостики, торчитъ сѣдая коса: ходить и поеть подъ-носъ:

Весна весела, цѣѣты приносить,  
Пастушокъ пастушку во лузи просить,  
Пастушка столь рада  
Овечки погнала  
Въ тіі луга, въ тіі луга!...

Со стороны подумаешь: дѣячокъ какой-нибудь, а это самъ дѣдушка. Попробуй пріѣхать жидъ, съ нимъ дѣдушка ни слова по-человѣчески, все по-жидовски, заговорить, закашляется, захлопаетъ ртомъ—настоящій арендаторъ Ицька, если вы его изволите знать—даже подергиваетъ плечомъ по-жидовски!... Осеню привезутъ татары продавать виноградъ—уже дѣдушка съ татарами пріятель, сидитъ съ ними подъ арбою, есть виноградъ и говоритъ по-татарски лучше

нежели сами татары; у татаръ все-таки разберешь какое-нибудь слово: Иванъ или чтонибудь подобное, а у дѣдушки ровно ничего не поймешь: какъ заговоритъ, языкъ словно колотушка болтаетъ во рту, такъ и стучитъ, будто деревянная пробка въ пустомъ боченкѣ.... бойкость необыкновенная.... Однажды онъ схватился на рѣчахъ съ плѣннымъ французомъ.... вѣроятно, болѣе я не услышу и не увижу подобного разговора, ярые иностранные звуки быстро летѣли изъ устъ дѣдушки, глаза хлопали, брови ежились, уши шевелились, ноги топали, а руки вольно махали во всѣ стороны, какъ крылья у вѣтреной мельницы. Французъ сначала было огрызлся, пожималъ плечами, а послѣ спасовалъ и молча отошелъ къ окошку.... тяжель французскій разговоръ! говоря такъ полчаса, устанешь какъ отъ доброй старинной мазурки. „Ну, что, спросили всѣ гости у дѣдушки,—что говоритъ французъ?“ „Развѣ вы не слышали?“ отвѣчалъ дѣдушка: „о, онъ просто дуракъ!“ сказалъ, что здоровъ слава Богу, да и молчитъ....“ Мало этого! не только всѣ людскіе языки, но и всѣ животные знаютъ дѣдушка. Бывало сидитъ у окошка и не смотрить на дворъ; вдругъ запищать воробыи— „коршунъ летитъ“ скажетъ дѣдушка, и точно: выбѣжишь на дворъ, смотришь—коршунъ вѣется гдѣ-нибудь надъ кустомъ сирени, машетъ широкими крыльями, а въ кустѣ штукъ десять воробьевъ не знаютъ куда дѣваться отъ страха, прыгаютъ съ вѣточки на вѣточку, суетятся и кричатъ какъ бабы на рынке. Иногда, бывало, лѣтомъ погода такая прекрасная; солнце свѣтло и ярко зайдетъ за гору, вечеръ теплый; рои ночныхъ бабочекъ носятся надъ цвѣтникомъ, такимъ употребительнымъ запахомъ вѣеть отъ цвѣтущей каприфоліи, таکъ на душъ весело.... „Дѣдушка, дѣдушка!“ закричишь, бывало: „завтра пойдемъ въ степь, наберемъ полевой клубники.“

- Нѣть.—отвѣчаетъ дѣдушка:—завтра будетъ дождь.
- Отчего же? Вы шутите, только меня пугаете. На небѣ ни облачка, откуда взяться дождю?
- Развѣ ты не слышишь?
- Ничего, дѣдушка.

— А что говорятъ на рѣкѣ лягушки? Прислушайся.  
И точно, вдали, на рѣкѣ, беспрестанно повторялись однобразные звуки: кумъ, кумъ, кумъ!

— Пустое, дѣдушка. Это лягушка зоветъ своего кума въ гости.

— Это лягушка говорить: будетъ дождь.

— Да вы отчего знаете?

— Поживите съ мое, побывайте въ иностранныхъ земляхъ, и вы узнаете.

Шутить дѣдушка, подумаешь, и ляжешь спать, мечтая о завтрашнемъ днѣ, о веселой прогулкѣ, о вкусной клубникѣ, которая такъ пріятна со сливками.

На-завтра проснешься, скорѣе къ окну—такъ и руки опустятся: откуда набрались сѣрыя тучи и заволокли чистое небо; густой дождикъ, какъ сквозь сито, сѣется на землю, скрывая подъ сѣдымъ туманомъ всѣ окрестности; деревья опустили листочки, цветы — головки, съ нихъ льется вода; на дворѣ лужи.... скучно становть, готовъ заплакать; ляжешь опять въ постель и заснешь, думая: какой умный дѣдушка!

Какъ жаль, что онъ умеръ, когда я еще былъ ребенкомъ, и только передъ смертью успѣлъ выучить меня писать арабскія цифры; всѣ знанія погибли съ нимъ!...

Осеню мы съ дѣдушкою гуляли въ полѣ. День былъ прекрасный; на скопенномъ лугу пестрѣли, какъ звѣздочки, на короткихъ стебелькахъ, розовые гвоздички: на сжатой нивѣ гуляла стая голубей; по дорогѣ перепархивали золотогрудые подорожники. А какъ хороша была роща, къ которой мы подходили! грушевыя деревья будто окутались въ красныя мантіи; жимолость покрылась темно-синимъ цветомъ; кудрявые липы красовались въ желто-золотыхъ листочкахъ, и между ними свѣтло-зелеными конусами высились тополи и выбѣгали серебряные стволы березокъ, перевитые темно-зелеными прядями вѣтвей. Надъ рощею вилась запоздалая пара орлицъ; въ рощѣ цветли голубыми букетами осеннеѣ колокольчики.

— Какъ хорошо вѣдьсъ, дѣдушка! — сказалъ я, бросаясь, самъ не зная для чего, на шею доброму старику.

— Да, прекрасное и умираетъ прекрасно!  
— Чѣмъ, чѣмъ такое дѣдушка?  
— Ничего, другъ мой—И дѣдушка отеръ платкомъ по-  
краснѣвшіе глаза.

— Смотрите, смотрите: вотъ къ намъ орелъ летить!  
— Это не орелъ, а кажется Петръ Иванычъ.  
— Развѣ Петръ Иванычъ умѣетъ летать?  
— Онъ скакеть къ намъ верхомъ на лошади.

Точно, это скакалъ Петръ Иванычъ; а отчего онъ мнѣ показался летящимъ орломъ—вотъ причина: Петръ Ивановичъ, нашъ сосѣдъ, былъ очень великъ ростомъ и худъ, не то, чтобы онъ былъ худой, т. е. не хороший человѣкъ—нѣтъ, наскѣ Богъ избавилъ отъ такихъ сосѣдей, а Петръ Ивановичъ былъ худъ, сухощавъ, т. е. сухопаръ, иначе выразиться — тонокъ. У Петра Ивановича была верховая лошадь маленькая, очень маленькая; у странствующаго нѣмца-комедіанта она бы съ пользою носила поноску, какъ лягавая собака. У Петра Ивановича, кромѣ лошадки, была борзая собачка Великанъ, ростомъ немного поменьше лошадки. Петръ Ивановичъ очень любилъ въ праздное время—а оно всегда у него было праздное — ъздить на охоту по полямъ верхомъ на своей лошадкѣ и травить Великаномъ зайцевъ. Для этого онъ обыкновенно надѣвалъ длинную бекешу бураго сукна, доходившую до самыхъ пять, садился верхомъ на лошадку, бралъ въ руки арапникъ, въ карманъ бутылочку пѣнника, привязывалъ къ поясу турецкій кинжалъ и выѣзжалъ въ поле. Пока Петръ Ивановичъ ъхалъ спокойно, шагомъ, то еще ничего, ноги на два вершка не досягали до земли, и полы бекеши, какъ длинная мантія, скрывали отъ глазъ половину лошади; но когда бывало, Великанъ подыметь зайца, Петръ Ивановичъ вскрикнетъ дикимъ голосомъ, распустить арапникъ, опишетъ имъ надъ головой какой-то фантастической знакъ—въ родѣ вензеля покойнаго турецкаго султана—и, опустивъ повода лошадкѣ, понесется вслѣдъ за убѣгающимъ звѣркомъ. Тутъ картина совершенно измѣняется: Петръ Ивановичъ пригнется

къ лукѣ сѣда, ноги прикорчить къ лошадиному крестцу, и доселѣ спокойная бекеша, развѣваемая противнымъ вѣтромъ, подымаеть свои полы, какъ птица крылья, выше головы Петра Ивановича. Если вы такъ счастливы, что онъ скакать къ вамъ, то увидите совершенное подобіе баснословнаго грифа, летающаго надъ землею во всемъ блескѣ красоты и величія. Изумленіе окуетъ ваши чувства. А если вы отъ природы робкаго характера то, пожалуй, и струсите. Въ профиль онъ былъ похожъ на бабочку, увеличенную въ миллионъ разъ; но это до нась не касается.... Не успѣлъ я хорошенъко разсмотрѣть Петра Ивановича, скакавшаго прямо на нась по дорогѣ, какъ онъ былъ ужъ очень не далеко; передъ нимъ скакали еще два существа—заяцъ и Великанъ. Бѣдный заяцъ бросился намъ подъ ноги, испугался, оторопѣлъ, свернуль въ сторону, а тутъ Великанъ хватъ его за шею и понесъ на воздухѣ. Какъ ребенокъ закричалъ несчастный звѣрекъ, но скоро затихъ подъ кинжаломъ Петра Ивановича.

— Ахъ, дѣдушка, какой злой Петръ Иванычъ! къ чему онъ зарѣзалъ бѣднаго зайца?

— Нѣтъ, ты ошибаешься: Петръ Иванычъ добрѣйшій человѣкъ, а зайца онъ зарѣзалъ — такъ, для удовольствія, отъ нечего-дѣлать.

— Бѣдняжка, какъ онъ закричалъ жалко! Я никогда не забуду его стона: совершенно дитя въ колыбели!... Что онъ кричалъ дѣдушка? вѣдь вы знаете?

— Жаловался на судьбу.

Въ это время Петръ Ивановичъ увязаль свою добычу въ торока, сѣль на лошадку и сказалъ дѣдушкѣ:

- Мое почтеніе. Вы гуляете?
- Гуляемъ.
- А чѣмъ, какова погода?
- Прекрасная.
- А каковъ заяцъ?
- Отличный!
- А каковъ мой Великанъ?
- Удивительный!

— Именно удивительный! прекурьезная собака! Ахъ, ты мой Великанушка, ты мое золото!—Прощайте.

— Прощайте!

И Петръ Ивановичъ уѣхалъ, разговаривая съ собакою.

— Несчастная судьба этого зайца!—сказалъ дѣдушка, помолчавъ немнogo.

— А вы его знали?

— Нѣтъ; но я знаю исторію его жизни.

— Онъ вамъ рассказывалъ?

— Я читалъ.

— Гдѣ же вы читали? развѣ зайцы пишутъ?

— Пишутъ; теперь всѣ животныя грамотны, и лѣсныя, и полевыя, и водяныя: всѣ пишутъ; даже насекомыя имѣютъ свою грамоту и своихъ писателей!

— Ахъ, какъ это весело!...

— Не очень, другъ мой!...

Дѣдушка наклонился, сорвалъ листокъ лошадинаго щавеля и, показавъ мнѣ на красныя точки и черточки, изпещрявшія весь широкій темно-зеленый листокъ, сказалъ:

— Вотъ одинъ листъ изъ рукописи этого зайца.

— Переведите мнѣ это на языкъ человѣческій.

— Пожалуй, нарви ихъ побольше.

Мы съ дѣдушкой возвратились домой, неся большую связку листьевъ щавеля, которые, мы думаемъ, расписывается такими красивыми письменами рука осени, между тѣмъ, какъ это литература зайцевъ.

На завтра мнѣ дѣдушка сдѣлалъ переводъ, который я предлагаю въ подлинникѣ. Если не понравится, ругайте покойнаго дѣдушку: онъ уже умеръ, отбраниваться не станетъ. Это же и въ духѣ времени!

### ЗАПИСКИ ЗАЙЦА.

*Роды здай усе чмъ точъ и исаивъ.  
А разъ дураги почишалъ  
котъ бы и эшетаринъ вига?*

- Идуть, идуть, оставь меня, бѣги, мой другъ!  
— Прощай, моя радость!...

Онъ торопливо поцѣловалъ ее и выбѣжалъ въ садъ, забывъ даже притворить дверь. Изъ соседней комнаты вошелъ, съ арапникомъ въ рукахъ, въ длинной бекешѣ, Петръ Ивановичъ.

— Здорово, жена! а я вотъ это съ охоты, хотѣль-было заночевать на хуторѣ, да блохи кусаются.

- Какъ я рада! Мнѣ что-то нездоровится, другъ мой.  
— Да, ты вся горишь!

Петръ Ивановичъ началъ цѣловать свою жену, а я пробрался въ полуутворенную дверь, прыгнулъ съ крыльца въ кусты и, скорѣе нежели кошка можетъ съѣсть порядочную крысу, былъ въ своей родимой рощѣ.

Вся польза двадцатидневнаго пребыванія моего въ домѣ людей была та, что я выучился понимать ихъ рѣчи и дружилъ съ прелестною Сиволапушкой, любимой кошечкой жены Петра Ивановича.

Какая милашка Сиволапушка! Она такая же сѣренѣкая, какъ и мы, зайцы, только на шейкѣ бѣленѣкое пятнышко, зато глазки—прелесть! Я готовъ трои сутки не кушать молодого гороха, чтобъ у моей будущей жены были такие глазки: зеленые-презеленые, какъ листочки свѣжей травки послѣ теплаго весеннаго дождика. Шерсть на ней мягкая, пушистая; походка скромная, движенія тихія, плавныя — вѣжливость необыкновенная! Поутру, бывало, только что я начну есть молоко, поставленное для меня подъ столомъ въ чистенькой тарелочкѣ, тотчасъ явится Сиволапушка, станетъ противъ меня, изогнувъ дугою спину, надуетъ усики и скажетъ на общемъ звѣриномъ языкѣ (разумѣется, кошачьимъ выговоромъ):

— Какъ прекрасно въ тихое утро освѣжать свою натуру благовоннымъ молокомъ.

Я не люблю говорить кушая, и потому въ отвѣтъ очень благосклонно махну правымъ ухомъ.

Я полагаю, извѣстно всѣмъ звѣрямъ, что у насъ, у зайцевъ, махнуть правымъ ухомъ значитъ изъявить радость, согласіе, удовольствіе и прочее—словомъ, этимъ движеніемъ выражается все пріятное. Махнуть лѣвымъ ухомъ—значить показать неудовольствіе, даже презрѣніе; обѣими ушами мы, зайцы, машемъ только въ случаѣ изумленія.

— Смѣю ли просить иностраннаго гостя о милости участвовать въ его пріятномъ занятіи?...

Я махну два раза правымъ ухомъ—и Сиволапушка начнетъ кушать со мною молоко изъ одной тарелки, нѣжно, ловко, снисходительно.... и послѣ завтрака такъ благоприлично утреть пущистою лапкою свою розовую мордочку, такъ лестно начнетъ благодарить, что мое правое ухо разъ пятнадцать махнетъ ей передъ самимъ носомъ. Будь у Сиволапушки подлиннѣе уши да покороче хвостъ, она была бы красивѣе всѣхъ зайчихъ на бѣломъ свѣтѣ.

Сиволапушка очень великодушна. У Петра Ивановича висѣлъ на окошкѣ въ проволочной клѣткѣ снѣгирь. Чуть забрежжется день, уже снѣгирь просыпается, клюнетъ зернышко другое коноплянаго сѣмени, сѣль на жердочку, надуетъ свою красную грудь и свиститъ потихоньку, цѣлый день свистить, пока станетъ темно, придетъ пора спать.

— Отчего это у васъ такъ свистить снѣгирь?—спрашиваются, бывало, Петра Ивановича сосѣди.

— Отчего же ему не свистеть?—отвѣчаетъ Петръ Ивановичъ: — корма достаточно, вода свѣжая, воздухъ чистый, живи себѣ припѣваючи!

А у меня душа разрывалась, слушая пѣсню снѣгира: съ утра до ночи онъ жаловался на судьбу свою, воспоминаль родной лѣсокъ и чащу терновника, гдѣ у него было гнѣздо, была подруга, были дѣти; онъ пѣлъ и просилъ у неба смерти; онъ пѣлъ, что <sup>и</sup>Петръ Ивановичъ хуже совы,

которая ночью нападаетъ на беззащитныхъ птичекъ, потому что сова поймаетъ птицу да и съѣсть, а Петръ Ивановичъ мучить ее для своего удовольствія; ему любо, дескать, какъ я плачу.“ Хорошо, что Петръ Ивановичъ не понималъ снѣгиря.

Вотъ что случилось въ одинъ ясный, солнечный день:

Въ комнатѣ никого не было, кромѣ меня и Сиволапушки. Съ восхода солнца тихо жаловался снѣгирь на свою судьбу и ругалъ Петра Ивановича; моя участъ очень походила на участъ снѣгиря; я задумался.

— О чемъ вы мечтаете?—спросила Сиволапушка, нѣжно трогая меня лапкою.

— Ни о чемъ, сударыня, такъ.

— Быть не можетъ! въ вашихъ глазахъ отражалось такъ много чувства....

— Это правда; меня разжалобилъ снѣгирь.

— Ахъ! и меня тоже!

— Ему, бѣдняжкѣ, жизнь въ тягость.

— Я сама такъ думаю, и давно хочу помочь ему.

— Помогите, ради прекрасной погоды и свѣтлаго солнышка!

Съ истиннымъ самоотверженіемъ начала взбираться чувствительная кошечка вверхъ по окошку, хватаясь безпрестанно за шнурокъ, которымъ была привязана стора; бѣдная Сиволапушка то висѣла вытянувшись всѣмъ тѣломъ, то скавшись въ мячикъ, словно нашъ лѣсной колдунъ-ёжъ, качалась на шнурочкѣ, какъ яблоко на тонкой вѣточкѣ. Нѣтъ, за два кочна самой свѣжей капусты я бы не продѣлалъ подобной штуки!.. Смотрю—уже Сиволапушка на клѣтки, обхватила ее всѣми четырьмя лапами и кротко, любовно глядитъ на снѣгиря, а онъ, дуракъ, будто угорѣлый мечется по клѣткамъ. Немного погодя, моя кошечка просунула въ клѣтку правую лапу и тихо начала водить ею надъ птичкою; снѣгирь припалъ на дно клѣтки; лапа быстро опустилась надъ нимъ, подняла его на воздухъ. Откуда явилась быстрота и сила у Сиволапушки! Снѣгирь пищалъ: „помогите, помогите!“

— Я помогаю тебе, ворчала кошечка, и проворно тянула снегирия изъ клѣтки между прутиковъ.... Клѣтка кружилась, плясала, кормъ сыпался изъ клѣтки, вода плескалась, пухъ и перья носились въ воздухѣ.... Наконецъ Сиволапушка спрыгнула на полъ, держа въ лапѣ снегирия.

— Освобожденъ! — закричалъ я и подбѣжалъ къ снегирию, но, увы, онъ былъ безъ дыханія! — Сиволапушка положила его у ногъ своихъ; слезы горести катились изъ глазъ ея на трупъ бѣдной птички.

— Чѣмъ вы надѣвали? — спросилъ я.

— Хотѣла облегчить участъ несчастнаго и нечаянно умертвила его. Ахъ!....

— Бѣдняжка!

— Впрочемъ, благодарю судьбу: я хоть что-нибудь для него сдѣлала: онъ жаловался на жизнь, она была ему въ тягость, и я сняла съ него эту тягость. Уже отъ этого сердце мое бьется радостнѣе.

— Въ самомъ дѣлѣ!... Миѣ и въ голову не пришло это сначала! Какъ вы добры Сиволапушка!

— Я родилась съ наклонностями ко всему добромъ и прекрасному. Разумѣется, маменька примѣрнымъ воспитаніемъ развила и укрѣпила ихъ.... шептала кошечка сквозь слезы, разматривая снегирия.

— Оставьте его! это зрелице слишкомъ жестоко для вашего чувствительного сердца.

— Нѣть, любезный иностранецъ, я не оставлю его: я не хочу, чтобы люди нечистыми руками трогали эту красивую птицу.

— Какая чувствительность!.. Такъ возьмите ее и спрячьте въ саду въ густую траву, или заройте въ песокъ.

— А насѣкомыя!... фи!... не могу, не могу.

— Чѣмъ же вы съ нимъ сдѣлаете?...

— Я думаю.... я сѣѣмъ его.

— Скушаете?... птичку? да это, я полагаю, невкусно!..

— Что-жъ дѣлать? лучше перенесу маленькое неудовольствіе, нежели.... И Сиволапушка начала, вздыхая, кушать снегирия.

„Господи!“ подумалъ я: „до чего доводить иногда нашего брата, звѣря, излишняя доброта!... Положимъ, кошка употребляетъ мышей, какъ враговъ своихъ, да и мыши все-таки звѣри, имѣютъ шерсть,— это какъ то аккуратнѣе; а то рѣшился скушать птицу, единственno для того, чтобы избавить ее непріятности попасть въ чьи-либо руки, птицу въ перьяхъ!... Я взялъ одно перышко, чтобы узнать какой въ ней вкусъ.... грызъ, грызъ, да и выплюнулъ: рѣшительно никакого вкуса; сухо, жестко, хуже гречневой соломы!...“

Вотъ какъ великодушна, добра и чувствительна была Сиволапушка! вотъ какого друга пріобрѣлъ я, живя двадцать дней съ людьми!...

Можетъ быть, кому нибудь изъ почтенныхъ дикихъ звѣрей покажется страннымъ, что я, будучи природнымъ кореннымъ зайцемъ, настоящимъ дикимъ звѣремъ, сдружился съ кошкою; можетъ-быть, мнѣ скажутъ, что выбирать друга должно по-шерсти, т. е. одного рода. Въ такомъ случаѣ я попрошу господина звѣря пожить недѣльку въ домѣ Петра Ивановича— и онъ перемѣнилъ свои мысли.

Повѣрите ли, мои дичайшіе, я тамъ видѣлъ поросенка— очень порядочного юношу, съ обширнымъ умомъ и прекраснымъ аппетитомъ, который былъ друженъ со столбикомъ—да, со столбикомъ! Чѣмъ бы, кажется, такое могло быть въ столбикѣ? а поросенокъ не отходилъ отъ него; отлучится на малое время, для какихъ нибудь необходимыхъ занятій: покушать свеклы, или что-нибудь подобное, и бѣжитъ скорѣе къ столбiku и ласкается къ нему, и чешетъ обѣ него свою спину, и называетъ его всякими пріятными именами, да и заснетъ тутъ, прислонясь къ нему.... Этому я самъ былъ свидѣтель! Почему же мнѣ не быть дружнымъ съ кошечкою? Да, коли на правду пошло, такъ и шерсть-то у настѣ одинаковая: оба сѣреные!...

Но пора къ дѣлу. Я заговорился о Сиволапушкѣ. Чѣмъ дѣлать? любовь и дружба любятъ болтать.

Первый предметъ, который попался на мои глаза въ родной рощѣ, была матушка. Горесть очень измѣнила черты

ея лица; она сидѣла подъ кустомъ малины, сложа лапки, опустивъ голову; ея уши развѣсились въ разныя стороны, какъ листья на увядшемъ кустѣ лилій; она держала въ зубахъ вѣточку дикой мяты, вѣроятно, хотѣла скушать это лакомое растеніе, но, отъ горести, задумалась и забыла. Легкимъ, ровнымъ, самымъ приличнымъ скокомъ приближался я къ матушкѣ и, соблюдая всю дикую вѣжливость, при каждомъ прыжкѣ ловко наклонялъ на бокъ голову, при чемъ мое правое ухо почти касалось земли. Чего же болѣе? иной отъ этихъ знаковъуваженія получилъ бы позывъ на пищу, а матушка даже не замѣтила моего приближенія—такъ меланхолія овладѣла ею!...

Шага за три я остановился и началъ лапками разграбить землю; шорохъ отъ этой вѣжливости вывелъ матушку изъ задумчивости; она вздрогнула, быстро поднялась на переднія лапки, выронила изо рта вѣточку мяты и проворно замахала обѣими ушами....

— Матушка! развѣ вы не узнаете вашего сына, пойманнаго, назадъ двадцать дней, какимъ-то человѣкомъ, и проданнаго Петру Ивановичу за рюмку водки?... Это я! я! я! я!...<sup>1)</sup>.

— Сынъ мой, какъ ты выросъ! какъ перемѣнился! двадцать дней—шутка ли!...

Тутъ матушка замолчала; я тоже. Въ сильныхъ ощущеніяхъ слова какъ-то не вѣжутся, путаются; гораздо выгоднѣе молчать. Мы сѣли другъ противъ друга, смотрѣли другъ на друга, лизали мордочки и кивали правыми ушами; такъ застала нась ночь. Тихо, спокойно заснулъ я въ родимой норкѣ, на сухихъ кленовыхъ листьяхъ, поужинавъ двумя листочками заячьей капусты.

Петръ Ивановичъ кормилъ меня молокомъ и цвѣтною капустою; я спалъ у него на мягкой подушкѣ, нарочно для меня приготовленной; но никогда у него я не былъ такъ сытъ, такъ спокоенъ!...

<sup>1)</sup> Животные вообще очень любятъ мѣстоимѣніе я.

Жизнь моя опять пошла попрежнему: рано утромъ до восхода солнца, мы съ матушкою выбѣгаемъ на опушку лѣса, вездѣ еще тихо, тихо.... въ воздухѣ свѣжо, такъ и хочется прыгать; всѣ травы покрыты крупными каплями росы; тронешь нечаянно какой-нибудь кустикъ—въ мигъ обдастъ тебя частый дождикъ; встрепенешься—онъ скатился на землю, а ты опять сухъ, опять прыгаешь высоко, широко, привольно!... Взойдетъ солнышко—еще станетъ веселѣе; все пробудится; птички, оставя гнѣзда, начнутъ пѣть.... чего не услышишь въ это время! Жаворонокъ, поднявшись высоко надъ землею, разсказываетъ всему свѣту, что ему видно: какія рѣчки, поля, лѣса, озера, сады, города—все разсказываетъ. Малиновка сто разъ повторяетъ, какой она видѣла сонъ; чижикъ бричить на всю рощу, что онъ выпилъ три капли самой чистой росы и готовъ дратиться хоть съ ястребомъ; соловей очень откровенно болтаетъ о своихъ ночныхъ похожденіяхъ; ястреба подъ облаками перекликаются куда имъ летѣть на охоту; далеко въ деревни собаки начинаютъ ругать весь свѣтъ и самихъ себя; но вотъ и люди пошли на работу; мы съ матушкой прячемся въ молодой, колосистый овесь; люди близѣонько идутъ мимо насть и не видятъ, а мы только слышимъ, какъ они съ первымъ кускомъ хлѣба, которымъ завтракаютъ на дорогѣ, осуждаютъ своихъ ближнихъ и начальниковъ, носить своихъ братьевъ, идущихъ сзади, а идущіе сзади, въ свою очередь, взводятъ небылицы на переднихъ, и такъ далѣе... Я до тѣхъ поръ перевожу матушкѣ людскія рѣчи, пока она махнетъ лѣвымъ ухомъ и послакаетъ въ глубь овсяной нивы; и послѣду за нею.

Настанетъ полдень—и мы роскошно отдыхаемъ въ овѣ; частые, колосистые стебли заткнутъ надъ нами сѣтку, непропускающую солнечныхъ лучей; вѣтерокъ, гуляя по нивѣ, скользитъ отъ верхушекъ до корней растеній и освѣжаетъ насть; захотѣль ъесть—стоить только поднять мордочку—и кисть полновѣсныхъ, молодыхъ, сочныхъ зернышекъ овса прямо падаетъ къ тебѣ въ ротъ; покушалъ и дремлешь. При-

деть вечеръ—опять въ рощу скачешь, прыгаешь, рѣвишься; на ночь въ норку, на кленовыя листья.... Чудная жизнь!...

Въ одинъ день мы съ матушкой лежимъ въ овѣ, и слышимъ, кто-то идетъ къ намъ, шумя и ломая овсяные стебли; шелестъ все ближе и ближе. Мы, притая уши, ползкомъ выбрались на опушку нивы, смотримъ: на другомъ концѣ стоитъ Петръ Ивановичъ верхомъ на своей лошадкѣ, а по нивѣ прыгаетъ Великанъ: то подымется на заднія лапы, сверкая во всѣ стороны жадными глазами, то опять нырнетъ въ зеленый овесъ. Я взглянулъ на матушку: она махнула лѣвымъ ухомъ, и мы съ-разу быстро понеслись по небольшой полянѣ въ свою рощу.

Ого-го! у-лю-лю! а-ту! а-ту!—закричалъ Петръ Ивановичъ; за нами раздался топотъ лошадки, шелестъ прыжковъ Великана; мы слышали его радостные взвизги, но спасеніе недалеко: вотъ знакомый кустарникъ, вотъ знакомыя деревья, вотъ наша норка! Я первый юркнулъ въ нее; матушка за мною. Отлегло отъ сердца!... Я, какъ былъ може и вдвое меньше матушки, то и забился въ боковую норку, а матушка осталась въ главной тутъ же, возлѣ меня, такъ что мнѣ было ее видно! Не успѣли мы спокойно вздохнуть, какъ надъ нашими головами послышался топотъ лошадки; она умолкъ, и вдругъ, я слышу, посыпалась въ норку земля, и что-то, сопя, лѣзетъ къ намъ; сопѣ все болѣе и болѣе приближался; душно стало мнѣ; и вотъ мимо меня сверкнули глаза и просунулась острыя вооруженная страшными зубами морда Великана, схватила мою матушку и повлекла изъ норки....

Бѣдная матушка! какъ жалко застонала она въ зубахъ этой собаки! „Сынъ мой“ прошептала она задыхавшимся голосомъ: „бойся собакъ и людей!...“ только я и слышалъ! Бѣдная матушка! много дней прошло съ тѣхъ поръ, но и теперь, вспоминая послѣднія слова твои, я плачу какъ ребенокъ.

Ко мнѣ въ норку долетали предсмертные вздохи матушки; но они скоро затихли; опять послышалась страшный сопѣ Великана, опять показалась его морда и остановилась про-

тивъ меня; глазъ сердитой собаки горѣлъ какъ раскаленный уголь, и казалось, готовъ быть сжечь меня; отъ страха я прижался еще плотнѣе къ стѣнкѣ своей норки, врось въ землю. Великану, чтобы взять меня, нужно было поворотить голову въ сторону, но голова его была очень велика, а норка узка; злобно запищалъ онъ, искрививъ, сколько могъ, свою морду на бокъ въ мою норку и защелкаль зубами; судорожно разводилъ онъ и сжималъ челюсти, оскаливъ на меня свои кривые зубы—все напрасно: зубы задѣвали только верхушки моей шерсти; вытянувшись длинный, сухой языкъ, онъ дотрогивался имъ до меня, обдавалъ меня жаркимъ дыханьемъ.... Это были страшныя минуты въ моей жизни!... Еще немного—я бы умеръ отъ ужаса.

„Назадъ, назадъ! Великанъ назадъ! полно вратъ!“ закричалъ наверху Петръ Ивановичъ. Великанъ, сдѣлавъ послѣднее усиленіе, щелкнулъ зубами почти у самой моей кожи и попятился изъ норки.... Вскорѣ хлопнула арапникъ, затопотала лошадка и опять все утихло.

Только ночью я рѣшился выползть изъ норки. Все было тихо; мѣсяцъ высоко плылъ по небу; широкіе дубы, какъ темныя горы, рисовались на темно-голубомъ небѣ; роща дремала; между травою блестѣли свѣтляки, въ орѣшникѣ, какъ и прежде, спала сорока; далеко въ болотѣ за рощею лягушки, какъ и всегда, хоромъ спорили о какомъ-то новомъ танцѣ; ничто не измѣнилось, кроме моего положенія: я остался сиротой на бѣломъ свѣтѣ! не съ кѣмъ мнѣ сказать слова, не съ кѣмъ раздѣлить ни печали, ни радости! Матушка, добрая матушка! я тебя не увижу болѣе! Гдѣ ты, моя родная? что съ тобой? О, Петръ Ивановичъ! о Великанѣ!... Я горько заплакалъ.

— О чѣмъ ты плачешь, дитя мое?—спросилъ меня знакомый голосъ; смотрю—передо мною стоитъ нашъ дѣдушка-колдунъ ёжъ, покашливаетъ и жуетъ какой-то корешокъ.

— О чѣмъ я плачу? Ахъ, если-бъ вы знали дѣдушка-колдунъ, я лишился матери! И, рыдая, я рассказалъ ему свою несчастную исторію.

— Подлинное—несчастіе, сказалъ ежъ, глотая остатки корешка.— Жаль, жаль, очень жаль твоей матушки! я ее зналъ еще въ дѣвицахъ; она была очень дикая особа.... И тебя-то жаль, мой другъ, рано остался безъ подпоры.

— Правда ваша, дѣдушка-колдунъ!

— Я никогда не лгу, мой другъ,—это мое правило. Чѣмъ же, у тебя норка теперь пуста?

— Да, много ли для меня нужно мѣста?

— Ну, такъ и быть, я тебѣ окажу услугу: это въ моемъ характерѣ; остаюсь у тебя жить, тебѣ будетъ веселѣе, а я старъ-звѣрь, беспокоить тебя не стану; захочешь слушать—скажу сказочку, а нѣтъ—и замолчу.

— Вы благодѣтель мой! сколько дикости въ этомъ поступкѣ!... Пойдемте, расположитесь въ норкѣ на сухихъ листьяхъ, гдѣ почивала моя матушка; будьте какъ у себя.

Ежъ вошелъ въ мою норку, проворчалъ себѣ подъ носъ какія-то волшебныя слова, перекрутился раза четыре на одномъ мѣстѣ и, свернувшись въ комокъ, уснулъ. Я сдѣлалъ тоже въ боковой норкѣ.

На-завтра, возвратясь съ прогулки, я не узналъ своего жилища: вся боковая норка была завалена лягушками, ящерицами, змѣями и другими гадами. Ежъ очень хладнокровно и съ большимъ любопытствомъ рассматривалъ небольшого ужа.

— Фи! дѣдушка-колдунъ! чѣмъ это? къ чему вамъ эта мерзость?

— Необходимо, другъ мой, для моихъ практическихъ занятій, для опытовъ.

— Для какихъ опытовъ.

— Видишь, узнаю, чѣмъ вкуснѣе.

— Это нестерпимо, дѣдушка-колдунъ! Гдѣ же я буду спать:

— Гдѣ угодно.

— Вытаскайте изъ моей норки этихъ уродовъ.

— Этого не будетъ, другъ мой; спи возлѣ меня, здѣсь.

— Но ваши иглы колются; около васъ близко быть страшно.

— Молодъ, другъ мой, поживи съ мое и у тебя выросутъ такія иглы.... А боишься меня—можешь провести ночь на вольномъ воздухѣ.

— Да въ вѣсъ нѣтъ никакой дикости! это самый образованный поступокъ: въ чужомъ дому распоряжаться какъ въ собственномъ и почти выгонять хозяина.

— Можетъ быть.

— Не можетъ быть, а есть. Прощайте!—И я выскочилъ изъ норки, съ намѣреніемъ провести ночь тѣ-нибудь вблизи; но пахнула вѣтерокъ, нагналъ тучи и пошелъ частый дождикъ. Дѣлать нечего: я опять въ норку. Что жъ бы вы думали? не успѣлъ сдѣлать двухъ шаговъ, лѣзетъ мнѣ на вѣтрѣчу ёжъ, уставя противъ меня свои иглы; я назадъ;— онъ остановится; я въ норку—онъ опять противъ меня.

— Что это значитъ, дѣдушка-колдунъ?

— Ничего, другъ мой. Во мнѣ нѣтъ дикости; я самый образованный звѣрь!

— Вы хотите выгнать меня изъ моей родной норки, лишить меня наслѣдія родителей?

— Можетъ быть.

— Не можетъ быть, а есть.... Вы неблагодарны! Какъ можно въ дождикъ выгонять на дворъ хозяина.

— Это тебѣ урокъ, молодой звѣрь, чтобы ты умѣлъ уважать старшихъ себѣ....

Дѣлать нечего! я махнулъ лѣвымъ ухомъ и оставилъ родное жилище. Дождь лиль рѣкою; я измокъ и, согнувшись подъ кустомъ, едва имѣлъ силы дождаться утра, пока взошло солнышко и осушило меня сиротку, лишенную даже родного пріюта.

Грустно провелъ я весь день, и къ вечеру брель по рощѣ безъ цѣли, безъ намѣренія, не зная, гдѣ преклоню свою голову; смотрю—идетъ Сиволапушка.

— Здравствуйте, Сиволапушка!—закричалъ я, прыгая ей навстрѣчу.

— А! мое почтеніе!—отвѣчала она, очень граціозно шевеля пушистымъ хвостомъ.

— Какъ вы попали въ нашу рощу?

— Единственно чрезъ свое добродушіе: Петръ Иванычъ,

вмѣсто снѣгиря, котораго я освободила, посадилъ въ клѣтку чижака: я и этого избавила отъ неволи....

— И также мертваго?

— Нѣтъ, этотъ по выходѣ изъ клѣтки, у меня въ лапахъ еще вздохнулъ раза два.

— Ага... это хорошо. Чѣмъ же далѣе?

— Мѣсто чижика занялъ скворецъ такой печальный!...

Два дня смотрѣла я на него, и наконецъ на третій рѣшилась, во что бы ни стало, освободить; все шло какъ нельзя лучше, но этотъ дуракъ поднялъ такой крикъ, что прибѣжалъ Петръ Ивановичъ и....

— Чѣмъ же такое?

— И.... надѣдалъ мнѣ много непріятностей, такъ что я рѣшилась тогда же оставить домъ этого грубіана, и только по ночамъ посѣщаю иногда кухню и комнаты, чтобы покушать чего-нибудь да послушать какихъ нибудь исторій.

— Я понимаю; это очень пріятно.

— Даже и полезно. Сегодня, напримѣръ, я слышала вѣсточку, которая, можетъ-быть, спасеть васъ отъ смерти.

— Какъ?

— Съ нѣкоторыхъ поръ, именно съ того времени, какъ привезли молодого студента учить сынка Петра Иваныча, бѣдная наша барыня все хвораетъ, и все посылаетъ своего мужа доставать дичи, такъ что онъ часто по цѣлой недѣли пропадаетъ; то заохаетъ жена: „убей мнѣ цаплю съ бѣлымъ хохломъ: кажется, какъ посмотрю на нее, станетъ легче.“ Привезетъ Петръ Иванычъ цаплю—опять стоны „если-бъ была съ чернымъ хохломъ.“ Вотъ такъ все и капризничаетъ.

— Да, это и при мнѣ бывало, и учителя-то я знаю: онъ меня нехотя выпустилъ на свободу.

— И прекрасно! Слушайте-жъ: вотъ вчера сижу я подъ кроватью и слышу: „Накорми меня, Петръ Иванычъ, зайцемъ, да тѣмъ самымъ, чѣмъ у насъ жилъ.“ Петръ Иванычъ отвѣчаетъ, что онъ затравить цѣлую сотню, хотя теперь порядочные люди и не ловить зайцевъ, а ждутъ осени; „я, дескать, и третьяго дня затравилъ для тебя, да ты и не

ѣла.“ — „Потому что тотъ былъ стариkъ,— „отвѣчала жена, — а я хочу молоденькаго, вотъ того, чоу насъ росъ, да ты выпустилъ.“ — „А узнаешь ты его?“ — спросилъ Петръ Ивановичъ. — „Узнаю.“ — „Ну, ладно, завтра же обшарю всѣ кустики во всемъ околоткѣ.“ — „Эге! подумала я: надобно извѣстить объ этомъ моего пріятеля“ — и побѣжала въ рощу, а вы, какъ нарочно, идете навстрѣчу.

— Чоу жъ мнѣ дѣлать?

— Сидите цѣлый день въ норкѣ. Ночью покушайте да и поять въ норку: дня въ три буря пройдетъ.

— Да у меня проклятый колдунъ отнялъ норку.

— Въ такомъ случаѣ путешествуйте. Люди всегда путешествуютъ, когда хотятъ чего-нибудь избавиться.

— Куда же? Не оставьте меня вашимъ совѣтомъ.

— Я думаю, какъ вы звѣрь молодой и ловкій, вамъ не безполезно было бы побывать въ Муромскихъ лѣсахъ: тамъ-то, говорятъ, настоящее звѣрство, неподѣльная дичь. Тамъ, говорятъ, наше невѣжество — сущее образованіе; тамъ-то можно перенять превосходныя диковинки манеры, темный мысли, неистовые чувства.... Ахъ, путешествуйте, туда, туда!...

— Рѣшено: путешествую! — сказалъ я, протягивая лапу Сиволапушкѣ.

— Будьте счастливы, — прошептала мнѣ очаровательница, и исчезла, какъ видѣніе.

Не успѣло еще разсвѣсть порядочно, какъ я уже былъ въ дорогѣ; съ сосѣдняго пригорка взглянулъ еще разъ на рощу и поскакалъ далѣе и далѣе, все на восходѣ солнца: тамъ, говорятъ, Муромскіе лѣса!...

## II.

Заяцъ знакомится съ нѣкоимъ насѣкомымъ.

Вотъ скачу-себѣ все далѣе и далѣе, скокъ да скокъ, впередъ да впередъ.... Далеко осталась за мною родимая роща; давно ужъ ея не видно. Прощай, моя зеленая! Кажется о

чемъ бы мнѣ грустить? матери у меня не осталось, моимъ жилищемъ завладѣлъ старый колдунъ съ колючками—скверный ёжъ; меня тамъ ждетъ неминуемая смерть, коли не отъ Петра Иваныча, такъ отъ собаки Великана. Гадкая роща! пропадай она совсѣмъ отъ верхушки до корня! А все-таки ее жаль, самъ не знаю отъ чего. Я плакаль бы, если бъ путешествіе не было такъ пріятно.— Ахъ, звѣри, звѣри! и малые и большіе, и сѣрые и пестрые, путешествуйте, путешествуйте! Я теперь только понимаю высокое наслажденіе, мыши-пеструшки<sup>1)</sup>, которая, оставляя свою родину, часто отправляется путешествовать безъ цѣли, безъ намѣренія, такъ, лишь бы путешествовать.

Что шагъ впередъ, то открываются передо мною новые виды: незнакомыя рощи, темные лѣса, широкіе луга.... подъ небесами плаваютъ орлы, въ болотѣ пресмыкаются разнообразные гады навстрѣчу летятъ стаи скворцовъ, ползутъ насѣкомыя, сороки сплетничаютъ, воробы врутъ чепуху— скачешь и упиваешься блаженствомъ: вездѣ такая прекрасная дичь!... ни слова, ни звука образованнаго, ни лица, ни голоса человѣческаго; все мы, звѣри, и прочія животныя. Что же ожидаетъ меня въ Муромскихъ лѣсахъ?

Прокакавъ одну порядочную рощу, я выбѣжалъ на чистое, обширное поле; по полю шла дорога; по обѣимъ сторонамъ кое-гдѣ росли кусты ракиты. День былъ жаркій, полуденное солнце не грѣло, а просто жгло безъ милосердія. Кто меня гонитъ? подумалъ я и, своротя съ дороги, улегся спокойно въ тѣни ракитового куста. Легкая дремота начала овладѣвать мною; вдругъ почти у самого моего уха раздался какой-то произительный, пискливый голосъ; прислушиваюсь: кто-то поетъ пѣсню:

Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ! какъ ты прекрасно, солнце свѣтишь!  
Повѣрь мнѣ, солнце, я одинъ лишь правду говорю;  
Всмогрись, о царь свѣтиль! и ты съ высоты тотчасъ примѣтишь,

1) *Mus lemmus. Linn.*

*Примѣчаніе дѣдушки.*

*Конфиденциальная*

Что дремлетъ лтица, звѣрь, и гадъ, и цвѣтъ, и злакъ, а я одинъ пою!  
Возможно ли сравнить съ тобою блѣдную луну и звѣзды?  
Всѣ знаютъ здѣсь меня; я знаю всѣхъ и потому  
Прилично воспѣвать тебя всегда мнѣ одному,  
Когда пернатые пѣвцы убрались въ гнѣзы!...

— Перестань, соѣдь, пищать! — сказалъ пѣвцу какой-то голосъ.

— Не перестану, почтеннѣйшій! не могу. Посмотри, какъ прекрасно оно, это благодѣтельное свѣтило — не могу: я весь проникнуть призательностью; моя пѣсня — чистое изліяніе души.

— Не дальше, какъ прошлую ночь, ты мнѣ не дай спать, напѣвая такую же пѣсню лунѣ.

— Тогда шла луна по небу, а теперь идетъ солнце; но-  
чью и луна хороша, а днемъ она дрянь — это мое убѣжденіе,  
почтеннѣйшій. До свиданія, соѣдь. Не хотите послушать?

Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ! какъ ты прекрасно, солнце, свѣтиши!

Я поднялъ голову и увидѣлъ недалеко отъ себя поющее наскѣкомое: оно было худощаво, желтоватаго цвѣта, съ зеленоватыми глазами и длинными тоненькими, сухими ножками; скорчившись, оно сидѣло подъ листкомъ чертополоха и, надрываясь, кричало нелѣпую пѣсню солнцу. Вотъ что значитъ путешествовать, подумалъ я, у насъ въ рощѣ нѣть такихъ наскѣкомыхъ; само маленькое, невзрачное, поджарое, а кричитъ какъ добрый поросенокъ, да какую великолѣпную дичь!... Наскѣкомое, замѣтивъ, что я смотрю на него, сдѣлало ловкій прыжокъ и, очутясь возлѣ самого моего носа, начало присѣдать и шаркать самымъ вѣжливымъ образомъ, безпрестанно повторяя: „какъ я радъ, что имѣю удовольствіе видѣть на нашемъ полѣ иностранного звѣря — сына роющи и лѣсныхъ предѣловъ.“

— Какъ это дико! — отвѣчалъ я.

— Помилуйте-съ, на этомъ только и живемъ, это уже наше дѣло; все окрестное поле меня знаетъ; спросите у всякаго, вотъ недалеко муравейникъ — хотите справиться?

— Покорно васъ благодарю! Но позвольте васъ спросить: какъ вы узнали, что я иностранецъ?

— Вы вовсе не похожи на нашихъ полевыхъ животныхъ.

— А вы постоянный здѣшній житель?

— Да-съ. Впрочемъ, насъ живеть искони на этомъ полѣ множество и для различія ихъ именуютъ разно: здѣсь живеть полевая мышь <sup>1)</sup>, полевой жаворонокъ <sup>2)</sup>, полевой жукъ <sup>3)</sup>, полевой скакунъ <sup>4)</sup>, и проч., всѣхъ не перечтешь и до вечера.

— А вы?...

— Я полевой сверчокъ,—къ вашимъ услугамъ <sup>5)</sup>.

— Очень пріятно!

— А! вы, вѣрно, обо мнѣ слыхали много кое чего? Это правда, меня всѣ знаютъ, да и я таки понялъ эти окрестности. Положа лапку на сердце, осмѣлюсь вамъ доложить, мой добрый путешественникъ, что въ томъ, что я вамъ буду говорить, есть много занимательного и поучительного.

— Рассказывайте.

— Наше поле обширно; много животныхъ населяютъ его, но въ особенности я счастливъ моими родственниками: нѣкоторыми изъ нашей породы, известные подъ названіемъ саранчи <sup>6)</sup>, опустошаютъ поле человѣка и, подивитесь! что тѣ, что посѣяно съ трудомъ и стараниемъ, поїдастъ саранча въ одно мгновеніе, и что въ то же время мы, что на-

<sup>1)</sup> *Mus arvalis* (Linn.), le carmagnol, ou petit rat des champs. При благоприятныхъ обстоятельствахъ, эти животные до того размножаются, что дѣлаются настоящимъ бичомъ, казнью неба. Если полѣвки заведутся въ какихъ-нибудь мѣстахъ, то бывають причины голода. (Зоол. Эварса, ч. II. стр. 293.).

<sup>2)</sup> *Alauda arvensis*. Linn.

<sup>3)</sup> *Scarabeus agricola*. Linn.

<sup>4)</sup> *Cicindela campestris*. Linn.

<sup>5)</sup> *Grillus campestris* (Linn). Le Grillon des champs. Il se creuse sur les dards des chemins, dans les terrains secs et exposés au soleil des trous assez profonds, où il se tient à l'affût des insectes, dont il fait sa proie... Le mâle produit un bruit aigu et désagréable (Cuvier).

<sup>6)</sup> *Grillus migratorius*. Linn.

Примѣчанія дѣдушки.

зыается, благодѣтельствуемъ гордому человѣку, потому-что другую нашу породу люди Ѳдятъ вмѣсто хлѣба<sup>1)</sup>. Мы казнимъ, но мы же и милуемъ человѣка; мало этого, что сказалъ я, мы, чтобы что-нибудь сдѣлать ему пріятное, за грабежи нашихъ родственниковъ отрядили искони одну отрасль нашего рода жить къ нему въ домъ и увеселять его прекрасными пѣснями. Этотъ пѣвецъ извѣстенъ подъ именемъ запечнаго сверчка<sup>2)</sup>.

— Знаю, знаю сверчка: когда я проживалъ въ домѣ Петра Иваныча, то часто слушалъ его пѣсни.

— Ну, вотъ видите, я вамъ говорилъ, что тѣ, чѣмъ<sup>3)</sup> я вамъ скажу, будетъ очень для васъ поучительно. И я готовъ перекричать всѣхъ насѣкомыхъ, что Петръ Иванычъ великий человѣкъ.

— Ваша правда, очень великий: будеть съ поверхнѣй столбъ, который стоитъ при началѣ этой дороги, если знаете.

— Я все знаю! Но позвольте вамъ доложить, что одинъ изъ сверчковъ, именно братъ дѣдушки моего пріятеля, жилъ во время бно въ домѣ пастуха Демида—а вамъ небезъизвѣстно, то, что пастуха уважаютъ и слушаются всѣ, даже быки и кони!—жилъ, былъ уважаемъ и пѣлъ такъ громко, что заглушалъ синичку, летавшую всю зиму по избѣ, съ которой онъ былъ въ непріязненныхъ отношеніяхъ, потому что боялся, чтобы она его не сѣѣла. Обиталище его было подъ печкой, въ глубокой уединенной трещинѣ, откуда онъ только выходилъ ночью и, покровительствуемый глубокимъ мракомъ, воспѣвалъ отъ полноты души восторженныя пѣсни!... Мало этого, родъ человѣческій уже давно оцѣнилъ заслуги нашего рода и даже сочинилъ въ похвалу намъ ка-

1) *Aceridum*. Сю саранчу въ Аравии и другихъ восточныхъ странахъ различно пріготовляютъ и употребляютъ въ пищу, и также дѣлаютъ изъ нея муку для печеія хлѣбовъ. (Ест. Ист. Ловецкаго).

2) *Grillus domesticus*. Linn.

3) Чѣмъ—безпрестанно встрѣчается въ рѣчахъ полевого сверчка, а потому я рѣшился оставлять эту частицу, какъ она была въ оригиналѣ, для сохраненія самостоятельности слова.

*Примѣчанія дѣдушки.*

кое-то прекрасное изреченье<sup>1)</sup>). Я пытался перевести его на наше нарѣчіе, потому-что знаю языкъ человѣческій....

— Вотъ видите! это величайшая рѣдкость! Гдѣ же вы учились языку человѣческому?

— Почти нигдѣ. Я разъ какъ-то подслушалъ, какъ проѣзжавшій мимо извозчикъ бранилъ лошадей; эту фразу я взялъ за основаніе, составилъ себѣ систему, а остальное дополнило воображеніе.... и вышло очень хорошо — спросите у всѣхъ. Пойдемте въ муравейникъ.

— Увольте меня, ради знойнаго дня.

— Какъ вамъ угодно. Теперь я разскажу вамъ о себѣ. Я.... ахъ! извините.... мнѣ должно пѣть, видите, взлетѣла на горизонтъ птица, да какъ высоко летитъ.... Пою, пою....

И полевой сверчокъ затянуль пѣсню:

Привѣтствую тебя, прекраснѣйшая птица:  
Какая прелесть, красота, пернатая, въ тебѣ видна!  
О! недоступная для нашихъ глазъ ты быть должна,  
Всѣмъ соколамъ, чижамъ, скворцамъ и воробьямъ сестрица.  
Лети себѣ, крылами воздухъ разсѣяка.  
Счастливъ я и на землѣ, тебя лишь воспивая!... <sup>2)</sup>.

Окончивъ пѣсню, полевой сверчокъ высунулъ головку изъ-подъ листка и, увида, что птица уже пролетѣла, немного успокоился.

— Ваша пѣсня довольно дика,—замѣтилъ я изъ вѣжливости.

— Помилуйте-сь! скажу вамъ откровенно, что въ томъ, что поется на бѣломъ свѣтѣ, никто не знаетъ болѣе толку, чѣмъ я. Я самъ пою безпрестанно; ничто не уйдетъ отъ моей пѣсни; я перепою всѣхъ животныхъ. Да, если по правдѣ сказать, то кто теперь иоетъ? жаворонки, зяблики, скворцы, соловьи и прочие.... Сами посудите, что это за

1) Я полагаю: *знай сверчокъ свой шестокъ*.

2) Всей красоты подлинника невозможно передать языкомъ человѣческимъ; однако и прозу и стихи полевого сверчка я старался переведить какъ можно ближе, сохранивъ въ послѣднихъ даже размѣръ подлинника.

*Примѣчанія дѣдушкі.*

народъ! ни одного настѣкомаго! всѣ—птицы. Птицы! Эка невидалъ какая!... Рады, что живутъ въ гнѣздахъ повыше нашего брата! А самъ ихъ соловей учился у меня. Вы слыхали соловья?

— Какъ же! прекрасно поеть.

— Да порядочно; но главная красота его пѣнія заключается въ звукахъ: чикъ, чикъ, чикъ, чикъ! и это онъ у меня перенялъ.

— У васъ?

— Да-съ. Прежде соловей пѣлъ какъ-то странно: пикъ, пикъ.... Но я первый рѣшился запѣть чикъ, чикъ—и соловей нѣсколько разъ прилеталъ къ муравейнику, у которого я пѣлъ, и сиживалъ долго, изучая мои пѣніе. Послѣ слышу: онъ поетъ чикъ, чикъ!... Да-съ! перенялъ; а злоба и зависть даже и на это не соглашаются! Вообразите: мои недоброжелатели распустили слухъ по всему полю, что соловей прилеталъ къ муравейнику, гдѣ я пѣлъ, не за тѣмъ, чтобы учиться пѣть, но чтобы, покушать муравьиныхъ яичекъ!

— Это ужасно!

— Именно ужасно! Поютъ какія-нибудь верхолетки, которыхъ порхаютъ по верхушкамъ деревъ, а нашему брату, изучающему природу въ ея основаніи, при корнѣ, не даются хода! То ли было въ старины времена! Здѣсь пѣлъ пѣтухъ, потерянный на нашемъ полѣ хмельной бабой, да самъ пѣтухъ, которого даже люди разводятъ въ домахъ своихъ ради пѣнія; мало этого, здѣсь свистѣль свои пѣсни сурокъ, изучавшій природу, какъ и мы, въ уединеніи, въ нѣдрахъ темной норки. И теперь не могу вспомнить равнодушно о томъ, какъ свистѣль онъ: его рѣзкій свистъ рѣшительно заглушалъ все и даже самого пѣтуха. Да, было времечко! Охъ, старина, старина!...

— Вы полагаете встарину было лучше?

— Несравненно! Тогда даже одинъ соловей пѣлъ пѣсни кузнечику, одному изъ моихъ знаменитыхъ родственниковъ.

— Вашему родственнику?

— Да-съ, родственнику: онъ былъ двоюродный дядя брата, сожительницы моего прадѣда, умершаго въ сѣропѣгую жабою исполинскаго роста, въ достопримѣчательную эпоху, известную въ исторіи подъ именемъ войны мышей съ лягушками.

— Развѣ онъ былъ мышь?

— Нѣть; онъ былъ тоже полевое настѣкомое, а попалъ въ войну единственно по добротѣ сердца и врожденной храбости: не могъ терпѣть трусовъ. Мыши поколотятъ лягушекъ—онъ тотчасъ къ мышамъ и поеть имъ похвалу. Лягушки ли одержать верхъ—онъ въ станѣ лягушекъ и танцуетъ съ ними галопадъ, и превозносить ихъ удальство, и поеть имъ пѣсню. Сколько разъ говорили ему родственники! „Эй, кузнечикъ, не юли! не ярись!“ и слушать не хотѣлъ, пока, пойманный въ непріятельскомъ лагерѣ, не былъ предательски умерщвленъ огромною сѣропѣгую жабой!... Не правда ли, что тѣ, чѣмъ я вамъ говорю, послужитъ вамъ источникомъ къ размышеніямъ?

— Согласенъ. Но скажите, ради вашего прекраснаго голоса, какой это птицѣ вы пѣли похвалу?

— Удовлетворить, вполнѣ васъ я не могу, потому что самъ хорошенько не знаю ея породы, но полагаю, что она птица сильная, отъ того, что летитъ высоко; слабая птица такъ не подымется: побоится; сверхъ-того, она полетѣла по направлению къ Муромскимъ лѣсамъ, а тамъ, вы знаете, что все отъявленная дичь, такъ пусть и о настѣ тамъ слово скажеть, что, дескать, и въ полѣ не безъ дичи-съ.

— А! такъ я ее еще увижу?

— Извините-съ, повѣрьте, что я все знаю; вы ее не увидите, потому что она полетѣла въ Муромскіе лѣса.

— Да и я, вѣдь, скаку туда же.

— Какъ, и вы въ Муромскіе лѣса? и вы туда же путешествуете?

— Чѣмъ тутъ удивительнаго?

— Разумѣется, ничего, мой благородный гость. Я вос-

клицаю отъ радости, что, наконецъ, познакомился съ животнымъ, которое такъ необразованно... такъ....

— Перестаньте льстить!

— Я не льщу; кладу лапку на сердце и увѣряю васъ, что не льшу. Ахъ! если-бъ вы знали, что и я давно уже собираюсь путешествовать. Если-бъ вы знали, что я терплю на полѣ за свое добродушіе и правдолюбіе! Вотъ, напримѣръ, мой сосѣдъ, полевой скакунъ—мой злѣйшій врагъ! онъ готовъ сдѣлать мнѣ всевозможныя непріятности.... даже вотъ недавно, передъ началомъ нашего пріятнѣйшаго знакомства, не захотѣлъ слушать моей пѣсни солицъ.

— А я думалъ, что онъ вашъ пріятель. Вы, кажется, его называли почтеннѣйшимъ сосѣдомъ!...

— Изъ одной только политики. Дай мнѣ побольше силы—онъ бы заплясалъ по моей дудкѣ. Но я, слабое, тощее, обиженное природой настѣкомое, что могу я сдѣлать? Только терпѣть или удалиться. Рѣшаюсь на послѣднее: путешествую! Скачемъ вмѣстѣ, мой добрый гость?

— Вотъ моя лапа.

— Полевой сверчокъ съ чувствомъ схватилъ мою лапу своими двумя лапками и, присѣдая на одномъ мѣстѣ, пожаль ее. Черезъ нѣсколько времени я скакалъ уже далѣе и полевой сверчокъ, взмостясь мнѣ на спину, кричалъ всѣмъ встрѣчнымъ животнымъ: „не нужно ли вамъ чего въ Муромскихъ лѣсахъ? мы, вотъ, туда путешествуемъ.

### III.

Полевой сверчокъ льстить журавлямъ.

Скачу да скачу я, все дальше и дальше; кругомъ меня исчезаетъ всякая образованность и возникаетъ дичь. Ахъ, какъ весело!... уже рѣдко встрѣчаются обработанныя поля и нивы, лѣса становятся чаще, пустыри огромнѣе, кустарники и дикій верескъ почти непроходимы. Я скачу, у меня на шеѣ сидитъ мой товарищъ, полевой сверчокъ, и поетъ

пѣсни—очень весело! Послала же мнѣ судьба такого прекрасного товарища! Меня удивляет непонятная способность полевого сверчка пѣть обо всемъ; вѣдемъ въ лѣсъ—онъ поетъ:

О лѣсь, о лѣсь, о лѣсь, великий лѣсь,  
Пою тебя, кладу на сердце руку  
И говорю: о лѣсь! всегда ты здѣсь:  
Не перенесть съ тобою мнѣ разлуку!...

Прискакали въ рощу—уже онъ пишитъ другую пѣсню:

О, роща! я тебя люблю, какъ человѣки квасъ и кашу;  
И лѣсь противъ тебя—естественный дуракъ.  
Собой ты прославляешь, роща, землю нашу....  
Я говорю, пою—такъ это вѣрно такъ....

Выскакчу я изъ рощи на степь, полевой сверчокъ покрѣпче ухватится мнѣ за шею задними лапками, переднія подыметь кверху и дико запишить:

О степь! о трогательный видъ!  
И лѣсь и роща—дрянь передъ тобою!  
Кто, глядя на тебя, спокойствіе хранить,  
Или о рощахъ смѣяться говорить,  
Тотъ низокъ, тотъ не дикъ душою!...  
Я знаю толкъ во всемъ—повѣрь мнѣ, не шутя!  
Что, глядя на тебя, я плачу какъ дитя!...

И много, много подобной дичи напѣвалъ мнѣ надъ самимъ ухомъ мой товарищъ; иногда дичь доходила до такой нелѣпости, что выражать ее нѣтъ никакихъ словъ на языкѣ звѣриномъ, даже, сколько я понимаю, и на языке человѣческомъ. Часто я, слушая пѣсни полевого сверчка, останавливался на всемъ бѣгу и, пораженный, уничтоженный высочайшею ихъ необразованностью и звѣрствомъ, стоялъ благоговѣйно, какъ пень, какъ мерзлая лагушка! Нѣтъ, кто чѣмъ ни говори, а по-моему полевой сверчокъ—умнѣйшее насѣкѣмое: чего онъ не знаетъ, чего онъ не вѣдаетъ! Запечнаго сверчка я не уважаю; но полевой—дичайший звѣрь!...

Разъ, подъ вечеръ, мы встрѣтились съ дикимъ кроликомъ; разговорились о томъ, о другомъ, вышло, что онъ мнѣ съ родни. Славный малый, почти бѣзъ образованія; далеко выше стоитъ тѣхъ, которыхъ я видывалъ на дворѣ Петра Ивановича: тѣ, живя съ людьми, почти потеряли свою дикость, изнѣжились, ослабѣли, бредятъ какимъ-то комфортомъ (должно быть, слово рыбьяго языка, котораго я не знаю), стали очень довѣрчивы и отъ того часто, не думано, не гадано, попадаютъ въ супъ, а супъ такая гадость, которую, я полагаю, ни одинъ хоть немногого дикій звѣрь не можетъ попробовать, не потерявъ на цѣлыхъ сутки аппетита.

Мы съ родичемъ сѣли листка по четыре хорошей зайчей капусты. Полевой сверчокъ не отказался раздѣлить нашу трапезу. Между разговорами, кроликъ сказалъ мнѣ: «и такъ вы, любезнѣйшій родственникъ, скоро достигнете цѣли вашего путешествія, проскакавъ денекъ-другой, будете въ Муромскомъ лѣсу—славное мѣсто зѣросли необыкновенные, собаки не бѣгаютъ, люди тоже—прелестъ!...

— Ахъ, какъ я радъ!—сказалъ я.

— Только,—продолжалъ кроликъ:—если вы любите овесь, то совѣтую вамъ покушать его сегодня вдоволь.

— А развѣ въ Муромскихъ лѣсахъ нѣть овса?

— Нельзя сказать, чтобы не было—чего тамъ нѣть! но, видите, его очень мало и вообще онъ поѣдается звѣрями сильными, большими: лошадьми, оленями, зубрами; даже простой быкъ не рѣшается кушать овса, боясь непріятностей, потому что тамъ овесь звѣриный, а не сѣянный людьми. Но сегодня вы еще можете воспользоваться. Недалеко отсюда какой-то человѣкъ вздумалъ засѣять ниву овса, и мы, звѣри, считая это нарушеніемъ своихъ правъ, опустошаемъ его частенько. Мое почтеніе любезнѣйшій родственникъ. Кланяйтесь отъ меня тушканчикамъ<sup>1)</sup>; познакомьтесь съ ними: ребята теплые, отличные прыгуны, они же намъ съ родни приходятся.

1) *Mus jacalus* (Pall.)

*Примѣчаніе дѣдушки.*

- Прощайте! А овесь я гдѣ найду?
- Тутъ, недалеко, вамъ по дорогѣ будетъ нива.
- Прощайте, почтеннѣйшій—запищаլъ полевой сверчокъ.
- Минуты вашего драгоцѣннаго знакомства никогда не изгладятся изъ моего сердца.
- Прощайте, доброе насѣкомое.
- Кроликъ ускакаљ, и я отправился своей дорогой.
- Вашъ родственникъ, не чета вамъ,—сказалъ полевой сверчокъ, когда кроликъ скрылся изъ виду.
- Какъ такъ?
- Да такъ; я повседневно, можно сказать ежечасно, удивляюсь вашему уму, а онъ....
- А онъ?
- Дуракъ, чистый дуракъ, образованный, съ позволенія вашего....
- Не слишкомъ ли это? вы ошибаетесь.
- Повѣрьте, то, что я говорю, всегда правда; это я знаю, и все знаютъ, я говорю по убѣждѣнію.
- По какому?
- Развѣ вы не замѣтили, что когда вы сказали слово комфорть, какъ онъ глупо махнулъ лѣвымъ ухомъ; онъ рѣшительно не понимаетъ этого слова, хотя тѣ, что вы замѣтили, что это слово изъ рыбьяго языка — чрезвычайно справедливо.
- Вы полагаете?
- Помилуйте-сь, совершенно увѣренъ, на этомъ живемъ-сь! Комфорть значитъ камышинка; и если, положимъ, говорить; улитка влѣзла въ комфорть, это значитъ улитка спряталась въ камышинку. Ужъ я знаю рыбай языкъ, между нами сказать: скверный язычишка; кажется и смысла нѣть, по нашему очень образованно, а по ихъ это хорошо, дико.
- Убивая время подобными разговорами, мы, наконецъ, прискакали къ желанной нивѣ съ овсомъ и услышали очень дикую музыку. На нивѣ было гостей множество—цѣлое стадо журавлей. Пять или шесть особъ изъ этого стада стояли въ концѣ нивы, каждый поджавъ подъ себя одну ногу,

и во все горло кричали на голосъ стариннаго экоссеса из-вѣстную журавлину пѣсню:

Прилетѣли на овесь  
И покушали овесь.  
Ай люли, ай люли! (bis).  
Хоть не любимъ мы овса,  
Но отвѣдали овса.  
Ай люли, ай люли! (bis).  
Мы бродили по овсу,  
Честь мы сдѣлали овсу.  
Ай люли, ай люли! (bis).  
Мы плѣнилися овсомъ,  
Подкрѣпились овсомъ.  
Ай люли, ай люли! (bis).

Музыканты играли не утомимо, а прочіе журавли танцо-вали препріятный танецъ: то собирались въ кружокъ, по-дымая кверху крылья, то, разсыпаясь, прыгали по нивѣ и каждый въ одиночку неподражаемо плуталъ длинными ногами и выдѣльвалъ самая дикія па.

Я хотѣлъ было, вздохнувъ проскакать мимо овсяной нивы, но мой товарищъ запицаль мнѣ: „не дѣлайте этого, вѣдь вамъ журавли хоть и небольшіе приятели, но и не враги; насъ, другое дѣло, эти невѣжки часто очень образованно хватаютъ своими длинными носами; полевой сверчокъ самое несчастное животное!... А вы можете воспользоваться пищей, да не забудьте унести и для меня во рту одинъ колосокъ.

— А вы куда? — спросилъ я.

— Э, почтеннѣйший! журавли враги мнѣ, я спрячуясь; ужъ позвольте мнѣ влѣзть въ ваше ухо: я помѣщусь въ немъ очень спокойно, оно такое большое; признательно сказать у васъ уши, какъ доброго дикаго осла — удивительныя уши, чуть ли не больше ослиныхъ; я даже гдѣ-то читалъ объ этомъ, кажется, въ диссертациі о превратности счастія, сочиненіе съраго попугая Попки, или синей мясной мухи — не могу сказать утвердительно, а помню даже форматъ этой лапописи: на зеленомъ лапушномъ листѣ въ полскачка длиною.

Говоря такимъ образомъ, полевой сверчокъ залѣзъ мнѣ

въ ухо и шепнулъ, чтобъ я бѣжалъ смѣло къ нивѣ. Ему хорошо было давать совѣты спрятавшись, а меня немножко взяло раздумье: „что если одинъ изъ этихъ болвановъ, для потѣхи, такъ разыгравшись, мимоходомъ задѣнетъ меня носомъ: шутки плохи: можно лишиться глаза,“ и я робко подекочилъ къ музыкантамъ и остановился въ недоумѣніи. Музыканты разомъ повернули ко мнѣ свои шеи и, увидѣвъ, что я не изъ числа враговъ, занялись своимъ дѣломъ. Вдругъ мое ухо запѣло—да, полевой сверчокъ началъ изъ моего уха подпѣвать журавлямъ! Чуть музыканты окончать:

Ай люли, ай люли,

а полевой сверчокъ и подпоетъ:

Патріоты журавли!

танцоры скоро замѣтили эту прибавку въ стихахъ экоссэса и шумной толпой подбѣжали къ музыкантамъ, крича: „браво! браво! молодцы!“

— Кто это изъ васъ такъ хорошо подхваливаетъ?—спросилъ самый большой журавль, вѣрно начальникъ.

— Не могимъ знать,—отвѣчали въ одинъ голосъ музыканты.

— Быть не можетъ, я самъ слышалъ.

— И мы, и мы,—закричало все стадо.

— Не бойтесь ничего, это дѣло хорошее, сказалъ старый журавль:—не къ чему запираться.

— Право-слово, не могимъ знать. Развѣ вотъ они.

Говоря это, музыканты показали на меня. Стадо стояло въ недоумѣніи; старый журавль призадумался съ минуту и сказалъ музыкантамъ: „а нутка еще!“ Музыканты вытянули шеи и начали отхватывать прежнюю пѣсенку; но чуть они кончили:

Ай люли, ай люли,

полевой сверчокъ подпѣлъ изъ моего уха громче прежняго:

Патріоты журавли!

Прелесть наши журавли!

— Стой!—закричалъ старый журавль:—теперь понимаю.

Музыканты остановились, а онъ подошелъ ко мнѣ, расшаркался самымъ вѣжливымъ образомъ, произнесъ рѣчъ, въ которой изъявилъ свое удивленіе, встрѣтивъ между четвероногими такого пріятнаго пѣвца, наговорилъ мнѣ кучу любезностей и пригласилъ раздѣлить съ его стадомъ человѣческій овесъ. Я покушалъ препорядочно и еще унесъ съ собой нѣсколько самыхъ сочныхъ вѣточекъ. Удивительно смѣтливое и находчивое наскокомое — полевой сверчокъ!

#### IV.

Заяцъ прискакалъ благополучно.

На конецъ мы прискакали въ Муромскій лѣсъ. Чудное мѣсто! Глубочайшая дичь! Кругомъ чертополохъ, репейникъ, терновникъ, шиповникъ и всякия добрыя растенія, далѣе — дубы, сосны, ели, березы.... трава невылазная.... Мой товарищъ, сидя у меня на шеѣ, еще издали началъ громко хвалить Муромскій лѣсъ, сравнивалъ его съ другими и ругалъ, насыпался надъ другими лѣсами, называя ихъ лѣсушками — даже наскучилъ мнѣ. Узенькой тропинкой я выскочилъ на небольшую чистенькую площадку, тетеревинный точекъ, какъ я узналъ послѣ; на площадкѣ гордо ходилъ пѣтухъ, подѣлѣ площадки, въ болотномъ камышѣ, сидѣлъ селезень и лежала большая свинья. Я хотѣлъ было проскочить мимо, какъ пѣтухъ загородилъ мнѣ крыломъ дорогу, гордо отставилъ одну ногу впередъ и крикнулъ на извѣстный напѣвъ кукареку: „кто такіѣ?“

— Путешественникъ, — отвѣчалъ я, низко кланяясь.

— Кто такіѣ? — повторилъ пѣтухъ, громче прежняго.

— Я заяцъ сѣрый, сѣрый заяцъ, русакъ, что называется, а это мой искренній другъ, полевой сверчокъ, невообразимо-дикій пѣвецъ.

— Такъ, такъ, дѣти, такъ! — заговорилъ хриплымъ голосомъ селезень, выбираясь изъ камыша.

Пѣтухъ свысока, надмѣнно смотрѣлъ на насъ; селезень

тоже подошелъ, переваливаясь съ боку на бокъ, любопытно, оглядѣль насъ кругомъ и сказалъ:

— Такъ, такъ!

— Полно кричать! спать не даютъ проклятые,—проворчала свинья, приподнявъ немнога изъ болота свою жирную голову, и опять улеглась.

Селезень тоже убрался въ камышъ, повторяя:

— Такъ, такъ, такъ!...

— Убирайтесь!—прокричалъ пѣтухъ прежнимъ напѣвомъ и пошелъ ровнымъ шагомъ по площадкѣ, а мы поскакали въ самую чашу лѣса.

## V.

Заяцъ немного разсуждаетъ.

Хороши Муромскіе лѣса, а правду сказать въ нихъ часто придется нашему брату, маленькому звѣрю, умирать съ голода. Я началъ-было ъесть траву подлѣ терновника; откуда не возьмись коза, привѣтливо раскланилась и говоритъ:

— Позвольте узнать, что вы намѣрены дѣлать?

— Хочу немного перекусить,—отвѣчалъ я.

— Мнеъ очень жаль,—сказала она,—что я должна вамъ отказать въ этомъ удовольствіи: я персона бѣдная, только и имѣю, что это мѣсто для корма; и если буду позволять вся кому пользоваться, то, посудите сами—вы умный человѣкъ —могу остаться безъ пищи, и, говоря это, она довольно-непріятно направила на меня пару своихъ острыхъ роговъ.

— Извините,—пробормоталъ я и поскакалъ далѣ.

Въ другомъ мѣстѣ баранъ очень вѣжливо говорилъ мнѣ, что считаетъ за честь со мной познакомиться, что очень много хорошаго слыхалъ обо мнѣ; но, при всемъ желаніи мнѣ добра, никакъ не можетъ позволить пастись около себя. Тамъ осель просто говорилъ: „убирайся, братецъ, къ чорту! самому травы мало;“ здѣсь лошадь, не говоря ни слова, такъ значительно подымала свою ногу, вооруженную

широкимъ, твердымъ копытомъ, что я, сколько силъ, улепетывалъ подальше; но болѣе всѣхъ меня удивила лисица, и эта не позволила щипать травки: „Я, говорить, здѣсь живу близко.“

— Помилуйте, сударыня, — сказалъ и, — вѣмъ извѣстно, что вы не употребляете постнаго: ни травы, ни листьевъ, на что же вамъ они? Позвольте попользоваться бѣдному звѣрю.

— По вашему выговору, и еще болѣе по образу мыслей, замѣчаю, что вы иностранецъ, — отвѣчала лисица: — и потому позвольте вамъ дать совѣтъ прыгать подальше отъ моего жилища: вы звѣрь очень дикий и безъ всякаго образованія, но слабый; знаете, у насъ, какъ и вездѣ, плотоядные звѣри любятъ иногда, для потѣхи, придушить вашего брата. Согласитесь, какъ мнѣ будетъ непріятно, когда волкъ, или кто другой, гоняясь за вами, ворвется въ мое гнѣздо: я должна буду защищать свое семейство, и, ни за что ни прочто, входить въ драку и ссориться съ сильными звѣрями.

— Однако.... — началъ было я, но лисица зѣвнула передъ самымъ моимъ носомъ и такъ страшно оскалила свои собачьи зубы, что я вспомнилъ Великанъ и опрометью бросился далѣе. Въ-силу къ вечеру набрель на семейство тушканчиковъ, передаль имъ поклонъ отъ кролика, посчитался съ ними родствомъ и перекусилъ не очень вкуснаго моху; они и сами, бѣдные, кое-какъ имъ перебиваются, а живутъ весело, скачутъ, прыгаютъ — славный народъ!

— Кто васъ заставляетъ жить въ этомъ лѣсу, — спросилъ я своихъ родичей: — если здѣсь пища такъ трудна?

— Да мы лучше станемъ поститься трои сутки, нежели бросимъ Муромскій лѣсъ, — завопили они хоромъ. — Помилуйте, гдѣ вы найдете этакую дикость, этакое тонкое невѣжество, этакое отсутствіе всего, чтобъ носить хоть тѣнь образованія?

— Правда, правда. Однако, у меня въ родимой рощѣ столько заячьей капусты, столько....

— Зачѣмъ же вы пришли сюда? жили бы тамъ у себя, ждали бы каждый часъ, что васъ затравить человѣкъ или придушить собака!... Тутъ воля, свобода, звѣрство.

Родственники говорили правду, но я не привыкъ питать-

ся мохомъ: я избалованъ съ дѣтства, и рѣшился подражать сильнымъ звѣрямъ. Я замѣтилъ, что медведи и волки всегда жирнѣе нашего брата, всегда у нихъ бока полны и шерсть лосится. Вотъ я и пошелъ къ одному известному волку проситься въ науку. Голодъ не свой братъ.

## VI.

Заяцъ беретъ уроки.

Волка я засталъ грызущимъ косточку.

— Позвольте потревожить ваше занятіе, сказалъ я самымъ благороднымъ голосомъ, наклоняя правое ухо до земли.

— Что-съ? — спросилъ волкъ, не выпуская изо рта косточки.

— Позвольте бѣдному травоядному, грызуна, отнять у васъ нѣсколько минутъ драгоцѣнного времени, посвящаемаго вами такимъ полезнымъ занятіямъ!

— Говори, братецъ, яснѣе: ничего не понимаю.

— Будьте отцомъ и благодѣтелемъ, — сказалъ я, падая на колѣни: — научите меня охотиться по-вашему. Я бѣдный звѣрь, трава мнѣ прискучила, плохо жить нашему брату; хочу ъесть мясо, хочу сдѣлаться волкомъ....

— Благодари судьбу, что я сыть, а то примѣрно наказалъ бы тебя за твою дерзость. Какъ ты смѣль, скверный мальчишка, подумать о чести сдѣлаться волкомъ? Посмотри на себя въ лужу: похожъ ли ты съ виду на нашъ великолѣпный родъ? гдѣ у тебя нашъ увѣсистый хвостъ, этотъ чувствометръ, какъ назвала его одна лягавая собака? гдѣ у тебя сильные, крѣпкія лапы? гдѣ широкая пасть и многоуважаемые волчьи зубы? Ты съ ума сошелъ, или гдѣ-то у людей образовался, молодой звѣришка — правда?

Точно, вы изволите говорить правду, мой кровожадный! Я имѣль несчастіе прожить двадцать дней въ человѣческомъ домѣ и, смѣю васъ увѣритъ, кроме языка, ничего по-человѣчески не понимаю. Но вы не поняли меня; я очень далекъ отъ чести сдѣлаться волкомъ; мнѣ бы хотѣ-

лось только перенять ваши пріемы, ваши средства, вашу ловкость при наездени на звѣрей....

— Смѣшио мѧть твоє желаніе; впрочемъ, поучись, пожалуй; а если ты понимаешь человѣческія рѣчи, то можешь немного быть мнѣ полезнымъ, но не сегодня; сегодня я съ пріятелемъ хорошо позавтракаю и хочу отдохнуть.

— Могу ли выразить мою величайшую....

— Безъ благодарности; эта штука ни грѣетъ, ни кормить.

О волкъ, о звѣрь, о кровожадность!

Тебя хочу я пѣть и голосъ мой теряетъ всю пріятность.

О диво....

запѣль-было полевой сверчокъ.

— Это что за дрянь пищить?—спросилъ волкъ.

— Мой пріятель, полевой сверчокъ....

— Слишкомъ, братецъ, много чести, что я и тебя принялъ подъ свое покровительство, а ты еще привелъ сюда гадкое насѣкомое. Вонъ его!

Я сказалъ нѣсколько словъ въ защиту полевого сверчка, но волкъ разсердился и хотѣлъ придушить его лапой. Сверчокъ въ два прыжка очутился на деревѣ, разругалъ волка и меня, сказалъ, что я неблагодарнѣйшее животное, что я дѣйствую очень образованно и, положа лапу на сердце, поклялся мстить мнѣ до конца дней. Такъ мы разстались съ дорожнымъ товарищемъ. Не знаю, за что полевой сверчокъ разозлился на меня; я, кажется, и привезъ его въ Муромскіе лѣса на спинѣ своей, и всегда дѣлилъ съ нимъ послѣдній листочекъ зелени, и пряталъ его отъ непріятелей въ свое ухо. Не умереть же мнѣ съ голоду ради пріятеля, ради поющаго насѣкомаго, когда мой благодѣтель, будущій мой наставникъ и покровитель не влюбилъ его.

Волкъ уснуль, приказавъ оберегать его во время сна отъ всякаго шума, особенно не допускать на его персону падающихъ листочковъ. Я присѣлъ на заднія лапки, поворачивая безпрестанно голову во всѣ стороны и, схватывая на-лету падавшія съ дерева листья, съѣдалъ ихъ. Подобное занятіе немного беспокойно, но полезно.

Поутру волкъ послалъ меня провѣдать, нѣть ли гдѣ на опушкѣ лѣса домашнихъ животныхъ, и если есть то нѣть ли близко людей.

Я скоро возвратился.

— Ну что? — спросилъ волкъ.

— Есть, — отвѣчалъ я.

— Чѣтое?

— Здоровая возовая лошадь.

— А люди?

— Людей нѣть, ушли версты за полторы въ кабакъ, а лошадь пустили подальше въ лѣсъ, чтобы напаслась.

— Нѣть ли засады?

— Нѣть. Я слышалъ людскія рѣчи: молодой, говорилъ: „Заѣдемъ, ладюшка, въ кабакъ, тамъ лошади и овса купимъ и сами перекусимъ.“ — „Виши какой бойкой“, говориль старикъ, „много у тебя денегъ на овесь?“ — „Баринъ, кажись, вамъ пожаловалъ?“ — „Мало чего нѣть! станешь овесь покупать, такъ не на что будетъ и выпить. Молодая у тебя голова, глупа!... Мы вотъ тутъ пустимъ гнѣдка напастись въ волю, пускай идетъ подальше отъ дороги въ лѣсъ, а сами сбѣгаемъ въ кабакъ, недалеко елка видна; повозка тутъ постоитъ, благо пустая.“ — „А кабы что не случилось?“ началь-было молодой, да старикъ перебилъ его: „молодъ, братъ, впервые ъздишь по барскому дѣлу, вотъ такъ бы и дрожаль по немъ! Слушай меня, старика, я человѣкъ бывалый.“ — Вотъ и пошли они въ кабакъ, а я со всѣхъ ногъ сюда.

— Merci! — сказалъ волкъ, и мы отправились въ походъ.

Когда мы прискакали на мѣсто, людей еще не было; большой, жирный, гнѣдой конь стоялъ у куста орѣшиника и въ полголоса высчитывалъ тяжесть покупокъ, которыхъ долженъ будетъ везти обратно изъ города, а между-тѣмъ, вытянувшись кверху шею, щипалъ съ куста молодые побѣги.

— Теперь приготовимся, — сказалъ волкъ отведя меня въ сторону. — Первое правило для уничтоженія большихъ животныхъ — большой вѣсъ. Чѣмъ больше въ насы вѣсу, тѣмъ

Приналежитъ библіотекѣ  
Л. Ициковскаго  
и продана быть не можетъ

быстрѣе и легче мы душимъ сильныхъ животныхъ. Я сегодня очень легокъ! — и съ этимъ словомъ онъ началъ есть землю.

— Что у меня глаза красны? — сказалъ волкъ, покушавъ немного земли.

— Немного.

Волкъ опять принялъ за землю.

— А теперь?

— Красны, очень красны.

— Шерсть ощетинилась?

— Нѣтъ.

Волкъ опять покушалъ земли.

— Теперь ощетинилась?

— Ощетинилась.

— Бока потолстѣли?

— Потолстѣли.

— Хвостъ приподнялся?

— Виситъ, какъ палка.

— Плохо! И волкъ началъ есть землю во весь ротъ.

— Не подымается?

— Приподымается.

— Ну, хорошо, теперь видишь, я сердитъ и тяжелъ, брошуясь на лошадь, она меня не потащитъ.

И съ этимъ словомъ, въ два прыжка онъ повисъ на шеѣ бѣднаго гнѣдка; гнѣдко съ перерезаннымъ горломъ упалъ на траву.

У! какъ сталъ страшенъ волкъ въ это время! Онъ жадно, торопливо раздиралъ трепетавшую лошадь, пиль ея кровь, оскаливъ красные зубы; глаза его сверкали, въ горлѣ слышался удущливый хрипъ. Я бросился изо всѣхъ ногъ, радуясь, что знаю секретъ волчьяго промысла.

— Хорошо! сказалъ кто-то у меня надъ самимъ ухомъ, когда я отскакалъ съ версту отъ волка.

— Это вы, полевой сверчокъ? — спросилъ я, узнавъ пріятеля по голосу.

— Я, почтеннѣйший. Извините, я опять сижу на вашей шеѣ; знаете, у меня къ вамъ влеченье родъ недуга....

— Вы, мнѣ кажется, разсердились на меня?

— Помилуйте! можно ли на васъ разсердиться? вы просто, дичайшій изъ зайцевъ! Я все слѣдилъ за вами, съ вѣточки на вѣточку, съ листочка на листочекъ, боялся спустить васъ съ глазъ, и очень радъ, что вы знаете средство сражаться съ лошадьми.

— А вы слышали? видѣли?

— Какъ же! Удивительный способъ! Положа лапу на сердце, увѣрю васъ, что вы теперь станете ужасомъ всѣхъ звѣрей; лучшая трава и горошекъ во всемъ Муромскомъ лѣсу будуть къ вашимъ услугамъ. Повѣрьте мнѣ, мнѣ эта грамота немножко извѣстна: я часто видывалъ подобные при мѣры; одинъ даже описанъ моимъ дѣдушкой съ теткиной стороны, во время извѣстной въ исторіи войны мышей съ лягушками. Знаете, я вамъ скажу, что вы теперь, чтобъ бы ни захотѣли, можете, что называется, съ-разу уничтожить. Вотъ, напримѣръ, баранъ; хотите, нападемъ на него?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ я; если нападать такъ нападать на что-нибудь покрупнѣе.

— Превосходно! О, дичайшій мой! вотъ пасется осель: нападемъ, что-ли?

Я покушалъ земли—препротивное кушанье, ничего не могъ проглотить, все выплюнулъ и спросилъ у полевого сверчка:

— А что, глаза красные?

— Красны, какъ огонь?—отвѣчалъ онъ.

— А шерсть щетинится?

— Словно ежевыя иглы!

— Бока потолстѣли?

— Будто арбузъ, такъ потолстѣли....

— А хвостъ подымается?...

— Поднимается! такъ и лѣзеть кверху.

— Ну, хорошо,—сказалъ я, пріосанился и подскочилъ къ оселу; но тутъ признаюсь откровенно, на меня нашла сильная робость, сердце тревожно забилось, ноги задрожали, я не взвидѣлъ свѣта.

— Смѣлѣе, смѣлѣе! —кричалъ мнѣ полевой сверчокъ, высоко качаясь надо мною на березовой вѣточкѣ.

Мнѣ стало совсѣмъ и я прыгнулъ прямо на горло ослу, оборвался, упалъ, и легъ передъ нимъ, не могши, отъ страха, пошевелить ногами. Хладнокровно посмотрѣлъ на меня осель и пошелъ далѣе, лягнувъ меня копытомъ. Тутъ я ужъ ничего не помню—все исчезло передо мной. Кажется я уснулъ.

## VII.

Полевой сверчокъ клевещетъ на зайца.

Просыпаюсь и чувствую страшную боль во всемъ тѣлѣ; въ головѣ шумитъ; надо мной кто-то бойко, бѣгло разговариваетъ.

— Зачѣмъ онъ тутъ, кто онъ такой?—говорилъ одинъ голосъ.

— Вѣрно воръ, вѣрно плутъ!—прибавилъ другой.

— Разспросить, разузнать бы не худо!—трещалъ третій.

— Позвольте, позвольте, я вамъ объясню,—пищалъ кто-то:— я все знаю, повѣрьте мнѣ mesdames; то, что я вамъ сообщу, будетъ очень любопытно. Этотъ звѣришка, чѣмъ лежитъ передъ вами, долженъ быть, что называется, какой нибудь бѣглецъ и самаго буйнаго характера; я его не знаю, да и что мнѣ за нужда знать всякую сволочь? Эка невидалъ какая! но вѣрно то, что онъ вздумалъ.... содрогнитесь, почтеннѣйшія дамы! вздумалъ растерзать осла, нашего добраго осла, всѣми уважаемаго осла, самаго дикаго осла! Разумѣется осель, съ чувствомъ своего достоинства, легонько оттолкнулъ дерзкаго копытомъ и—противъ правилъ своихъ, рѣшительно противъ своего убѣженія—убилъ гадкую тварь. Я знаю, mesdames, вашъ тонкій гастрономической вкусъ, но знаю, что вы, изъ снисхожденія, иногда кушаете заячье мясо, которое гораздо лучше души этого звѣрька; знаю, что вы просвѣщая муромскую дичь разными поучительными рассказами, еще не успѣли пообѣдать, и совсѣмъ, чтобы что-нибудь извлечь изъ этого приключенія,

отвѣдать этого зайца. Истинный мудрецъ изо всего извлекаетъ пользу. *Probatum est!...*

Я открылъ глаза; вижу надъ собою семью сорокъ, которыхъ, прыгая по дереву съ вѣточками на вѣточку все ниже и ниже, жадно засматривали мнѣ въ глаза, а противъ нихъ разглагольствуетъ полевой сверчокъ, спрятавшись, для безопасности, въ щелку дубовой коры, и высывая только оттуда по временамъ свою голову. Сороки, увида, что я еще живъ, быстро отлетѣли на верхушку дерева, переговорили наскоcо между собой и разлетѣлись въ разныя стороны свѣта оглашать Муромскій лѣсъ новою сплетней о моемъ несчастномъ сраженіи. Полевой сверчокъ, видя, что сороки удалились, вылѣзъ изъ своей щелки и тоже рѣзво поскакалъ по лѣсу, не обращая на меня никакого вниманія.

— Милостивый государь,—простональ я —господинъ полевой сверчокъ, куда вы? Не оставляйте меня; я не сержусь за ваши сплетни съ сороками, не сержусь за ваше отреченіе, ради овса и капусты останьтесь со мной! Видите, я раненъ, не могу встать съ мѣста....

Но полевой сверчокъ прикинулся, что не слышитъ моихъ стоновъ и уекакаль далѣ. Этотъ поступокъ, очень образованный, крѣпко меня опечалилъ; я лежалъ беззащитный съ перебитыми скоками, не могъпротянуть шеи, чтобы достать листочекъ травки, стебелекъ папоротника или клочокъ моху, а онъ, мой товарищъ, котораго я привезъ на своей шеѣ въ Муромскіе лѣса, котораго пряталъ въ свое ухо, кормилъ, оберегалъ, онъ оставилъ меня! Я лежалъ и горько плакалъ.

### VIII.

Еще клевета. Плохо зайцу.

Передъ вечеромъ сѣль недалеко отъ меня, на деревѣ, сѣрый дроздъ, очистилъ носъ, оправилъ имъ свои перья, встрепенулся и запѣлъ пѣсню:

Жиль былъ заяцъ, сѣрый заяцъ,  
Пребольшой дуракъ.

Вѣрьте мнѣ, весь свѣтъ меня знаетъ-сь  
Что скажу, то быть тому такъ!...

Я не упомнилъ всей пѣсни, но въ ней весьма подробно было разказано мое несчастное приключение съ осломъ. Пѣсня была, какъ всякий можетъ судить по началу, довольно-дика, по содержанію, близка моему сердцу, и я рѣшился разспросить о ней у дрозда.

— Здравствуйте, милостивый государь,—сказалъ я.  
— Bon jour! — отвѣчалъ дроздъ.  
— У васъ прекрасный голосъ, чистый теноръ.  
— Vous trouvez? вы думаете?  
— Я, рѣдко слыхалъ подобный голосъ.  
— Всѣ синички, всѣ чечотки говорятъ тоже.  
— Позвольте узнать, какую это пѣсню вы такъ прекрасно пѣли?

— Самую новую; она сегодня только-что вышла, напечатана въ „Трубадуръ-дю-дичь.“

— Ваше сочиненіе, смѣю спросить?  
— Нѣть, ее написалъ какой-то полевой — не то жукъ, не то кузнецикъ, не помню хорошенько, а пѣсня пріятная, много, этаکъ, знаете, чепухи....

— Не полевой ли сверчокъ?  
— Oui, monsieur, да, c'est vrai, полевой сверчокъ.  
— Позвольте васъ просить?

Съ удовольствіемъ, что вамъ спѣть что-нибудь?  
— Нѣть; я боленъ, не могу двинуться съ мѣста, такъ нельзѧ ли потрудиться подать мнѣ вѣточку чего-нибудь.

— Ахъ извините, mille pardons! Я спѣшу. Къ намъ прибыла степная перепелка, очень музыкальная особа и, при томъ, belle femme! Я обѣщаю сегодня пѣть ей при закатѣ солнца. Прощайте, au revoir!

Дроздъ улетѣлъ, напѣвая, обо мнѣ пѣсенку, которую услужливое наසѣкомое успѣло тиснуть въ „Трубадуръ-дю дичь,“

и я остался безъ надежды на помощь. Къ счастью, ночь освѣжила меня холодною росой, а къ свѣту навернулся какъ-то кротъ, звѣрь чернорабочій, неказистый, подслѣповатый, но добролѣтнѣйшій изъ четвероногихъ и большой философъ. Онъ принялъ во мнѣ участіе, пріютилъ въ своей норкѣ и даже къ свѣту успѣлъ ее расширить, замѣтивъ, что она мала по мнѣ.

Добрый кротъ носилъ мнѣ разные кореня и молодые отпрыски растеній, кормилъ меня, холилъ и былъ виѣ себѣ отъ радости, что такой быстрый звѣрь, какъ я, сдѣлалъ честь ему, ползуну, своимъ посѣщеніемъ. Скоки мои, которые часто невѣжливо называются задними ногами, понемногу сростались, крѣпли; я началъ по ночамъ выходить изъ норки и, прихрамывая, прыгалъ около нея. Между тѣмъ кротъ, возвращаясь изъ своихъ подземныхъ путешествій, приносилъ мнѣ разныя вѣсти. Видѣть-то онъ почти ничего не видѣлъ, а слухъ имѣлъ необычайный, хоть у него уши маленькия, не чета длиннымъ ушамъ труса-осла, который ими ничего не слышитъ, я думаю. Вѣсти доброго крота были для меня рѣшительно непонятны, но тѣмъ болѣе пугали меня, кротъ говорилъ, что общій голосъ всѣхъ звѣрей называетъ меня нарушителемъ спокойствія, воромъ, что надо мнѣ составили судъ и т. п. Я просилъ крота, если встрѣтить, привести одного изъ моихъ родственниковъ, тушканчика. На слѣдующій день тушканчикъ сидѣлъ передо мною и рассказывалъ слѣдующее происшествіе:

— Назадъ тому съ недѣлю, явился къ медвѣду, который у насъ теперь воеводой, старый заслуженный оленъ о девяти рогахъ, и жаловался, что кто-то съѣлъ два куста дикаго овса, принадлежавшаго, ему, оленю. Медвѣдь велѣлъ на, ради слѣдствіе; выбрали осла, быка, лошадь и барана—назначили секретаремъ лисицу—и закипѣло слѣдствіе; двѣ дикия козы да я съ братомъ совершенно выбились изъ силъ бѣгая за справками. Слѣдователи съѣли полстога самого лучшаго сѣна, а дѣло не шло впередъ ни на волосъ, хоть мы все знали кто съѣлъ овесъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ, овесь съѣль самъ быкъ, много мелкихъ звѣрей это видѣли, да все сказать боялись; а секретарь подойдетъ къ быку, пошепчется съ нимъ, да и скажетъ: "нѣть никакихъ слѣдовъ; пора бы распустить слѣдователей."

— Правда, заблѣтъ баранъ; ему поддакнуть конь и оселъ, такъ дѣло и отложатъ до завтра.

Такъ шли дѣла. Уже медвѣдь хотѣлъ-было приказать закрыть комитетъ, уже секретарь составилъ-было протоколъ, въ которомъ признано оставить въ сильномъ подозрѣніи птицу овсянку, какъ носящую кличку украденаго предмета, вдругъ, вовсе неожиданно, явился гусь съ донесеніемъ, что онъ видѣлъ своими глазами вора, что онъ съ рогами, и хотѣлъ-было начать описывать его примѣты.

— Гм! гм! —сказала лошадь.

— Важное обстоятельство! —сказалъ осель: — разберите его хорошенъко господинъ секретарь.

— И мы взываемъ къ вамъ обѣ этомъ, замычалъ быкъ, значительно глядя на лисицу.

— Очень хорошо,—отвѣчала лисица.—Но, господа, вы, кажется, устали, много работали сегодня; не пора ли разойтись? Завтра на свѣжую память, все разсмотримъ, а донончика посадимъ до завтра подъ карауль.

Слѣдователи разошлись; лисица отдала гуся подъ карауль двумъ волкамъ.

— Смотрите вы мнѣ, бирюки, —сказала лисица:—только уйдеть гусь, и сами на глаза не кажитесь!

На утро, къ изумленію всѣхъ слѣдователей, гуся не оказалось, волковъ тоже. На мѣстѣ, гдѣ содержался преступникъ, нашли немного крови и нѣсколько перьевъ. Въ лѣсу до сихъ-поръ толкуютъ это происшествіе разно: волкоманы увѣряютъ, что волки съѣли гуся и ушли, а гусоманы—будто гусь проглотилъ обоихъ волковъ и улетѣлъ за границу. Какъ бы то ни было, но медвѣдь началъ подозрѣвать въ покражѣ всѣхъ рогоносцевъ и велѣлъ удвоить стараніе при слѣдствії. Всѣ были въ отчаяніи. Вдругъ явилось тощее

насъкомое и объявило, что гусь доносил вполовину спрavedливо, ибо, по своей близорукости, принял уши за рога; а что съѣль овесь заяцъ, известный всему околотку за грубянина, буйна и самаго дерзкаго кутилу, который, забывъ всякое уваженіе, еще недавно бросился весьма злобно на шею его ослиной милости.

— Такъ это онъ? — спросилъ осель поднявши кверху уши и брови.

— Онъ-съ, право онъ, — отвѣчало насъконое. — Я былъ большой пріятель съ гусемъ, и мы вмѣстѣ, разсуждая о блаженствѣ сумасбродства и прочихъ отвлеченныхъ идеяхъ нечаянно наткнулись на реченнаго зайца, когда онъ пожиралъ воровской овесь. Отвратительное было зрѣлище! Я содрогаюсь, вспоминая его.

— А вы кто такой? — спросила лошадь.

— Я полевой сверчокъ, къ вашимъ услугамъ.

— Да правду ли вы говорите, точно ли вы видѣли? — замѣтилъ быкъ.

— Помилуйте-съ! я все знаю, меня всѣ знаютъ — спросите въ муравейникѣ. Стану ли я лгать передъ вашимъ говяжьимъ достоинствомъ! Я, еще не имѣя счастія видѣть васъ, пѣлъ въ честь вамъ пѣсню:

Ай-да быкъ!  
Превеликъ! и проч.

Я знаю этого зайца, я даже имѣлъ несчастіе быть его товарищемъ въ путешествіи; но, узнавъ короче образованность, нравъ его и наклонности, поспѣшилъ съ нимъ разойтись.

— Хорошо! — сказала лисица: — поклянитесь.

— Съ удовольствіемъ. Клянусь, положа лапку на сердце, что то, что я вамъ сказалъ — истинная правда.

— Чего же больше? — промычалъ быкъ.

— Да, да, — заржали радостно конь и осель.

— Браво! порѣшили, братцы! — заблѣялъ баранъ.

Я было хотѣлъ вступиться за васъ, родичъ, да мнѣ лисица и пикнуть не дала. И тутъ же составили опредѣленіе поймать васъ, обгрызть, въ наказаніе, вамъ уши и доставить ихъ къ воеводѣ. Исполненіе приговора возложили на чекалку<sup>1)</sup> и, будьте осторожны, онъ уже давно васъ ищетъ: это ему на зубы! уши онъ доставитъ медвѣдю, а сѣ пропа-  
чимъ поступить по усмотрѣнію. Не вѣковать вамъ!

— Какъ же это поклялся полевой сверчокъ въ такой неправдѣ? — спросилъ я у моего родича-тушканчика.

— Я и самъ не понималъ этого, да нечаянно открылъ истину: пробѣгая по лѣсу, я услышалъ, что быкъ шепчется съ лисой въ кустахъ; я подкрался и все выслушалъ. Быкъ, добрый звѣрь, изъявляя свое удивленіе лисицѣ, какъ вы теперь мнѣ.

— Какъ вы прости! — говорила лисица: — благодарите судьбу, что я дѣло хорошо съ рукъ спустила!... а полевому сверчку клясться легко, положа лапку на сердце, потому что у него нѣтъ сердца вовсе.

— Можетъ ли быть?

— Я вамъ докажу. Господинъ полевой сверчокъ! гдѣ вы? пожалуйте сюда! скорѣе! дѣло есть, — закричала лисица. И, немножко, погодя прискакало это насѣкомое.

— Ну спасибо вамъ, поддержали вы моего кума, продолжала лисица. Дайте вашу лапку и другую.

Полевой сверчокъ, униженно присѣдая, подалъ лисицѣ обѣ лапки. Лисица крѣпко взяла его за обѣ лапки и громкимъ голосомъ спросила: „какъ ты смѣло, противное насѣкомое, говорить и клясться противъ совѣсти?“

Полевой сверчокъ позеленѣлъ отъ страха и началъ корчиться.

— Ты сегодня вралъ на зайца, а завтра соверши и на меня, бездѣльникъ, — продолжала лисица: — такъ вотъ тебѣ....

<sup>1)</sup>Canis arcus. (Естеств. Исторія А. Ловецкаго).

и при этомъ словѣ она разорвала его на части и показала быку, говоря:—посмотрите, гдѣ тутъ сердце.

— Рѣшительно нѣтъ и признака, сказалъ быкъ, мотая въ раздумы головой.—Повѣрьте, кумушка, въ первый разъ въ жизни вижу подобнаго звѣря!...

— Эти всѣ насѣкомыя, любезный кумъ, которая присѣдаютъ, да прискакиваютъ, да увишаются вокругъ чего-нибудь, всѣ безъ сердца! <sup>1)</sup>

Не успѣлъ тушканчикъ окончить печальнаго рассказа, какъ вдругъ остановился, прислушался и торопливо сказалъ мнѣ:—бѣги, бѣги скорѣе! идетъ сюда чекалка! Плохо тебѣ будетъ, я слышу его шаги!

— Прощай,—сказалъ я родичу, и бросился въ чащу, оглянулся: чекалка, словно тѣнь, летитъ за мною; я вправо и онъ вправо, я влево и онъ влево; были бы у меня здоровые скоки, я бы и не подумалъ о немъ; но я прихрамывалъ и крѣпко боялся за свою шкуру. Стало разсвѣтать, я выскакалъ изъ лѣса, а чекалка налегалъ на меня ближе и ближе; зубы его щелкнули надо мной, я рванулся и выскочилъ далеко впередъ, оставилъ только хвостъ въ зубахъ непріятеля. Тутъ, на мое счастіе, повстрѣчалась намъ повозка; люди стали кричать на чекалку, онъ повернулся въ лѣсъ, а я кое-какъ уплелся въ кустарникъ и прилегъ, измученный, усталый.

Отдохнувъ, я началъ разсуждать о своей несчастной жизни. „Вездѣ непріятности, вездѣ гоненія! вездѣ я виноватъ безвинно отъ-того, что слабѣе всѣхъ, думалъ я. И куда я покажусь хромой, безхвостый?!.. всѣ станутъ смеяться надо мной!“ Подобныя мысли, одна мрачнѣе другой, бродили въ головѣ моей; я рѣшился не страдать болѣе, то есть, не жить, рѣшился утопиться и прямо побѣжалъ къ рекѣ.

1) Насѣкомыя снабжены желудкомъ и кишечнымъ каналомъ.... У нихъ дѣтъ сердца, но одни тонкіе пасоконосные сосуды, содержащіе въ себѣ иѣлую и холодную жидкость. (Естест. Исторія А. Ловецкаго. Ч. II. стр. 104).

— Звѣрь, звѣрь, заяцъ, заяцъ! бѣгите! спасайтесь! — раздалось по всему рѣчному берегу, куда я ни прибѣгу, лягушки, сломя голову, скачутъ отъ меня въ воду.

„Стой!“ подумалъ я, „значить, есть же твари беззащитнѣе меня, которыхъ и меня боятся, а живутъ, весело поютъ иѣсни, а порой и пляшутъ,“ и мое намѣреніе утопиться сильно остыло при этомъ разсужденіи. Я не утопился: я рѣшился возвратиться на родину, отыскать свою старую норку: авось околѣль колдунъ-ѣжъ; если же не околѣль, то обзавестись хорошимъ логвомъ, чтобы теперь гораздо приличнѣе моему возрасту, и спокойно провести свою старость.

## IX.

• Заяцъ возвращается на родину.

Вотъ я и на родинѣ! Осенъ очень измѣнила мою рощу, но все я узналъ ее и привѣтствовалъ какъ старого друга: здѣсь миѣ веселье, привольнѣе... Всѣ знакомые звѣри стали очень уважать меня: это, кажется, единственная польза отъ путешествія.... Нѣтъ, есть, правда, еще и другая: возвратясь изъ путешествія, какъ-то лучше цѣнишь свою родину, понимаешь пословицу, которую я въ дѣтствѣ слышалъ отъ людей въ домѣ Петра Ивановича: славны бубны за горами! Разумѣется, въ Муромскихъ лѣсахъ отъявленная дичь, но одна дичь да дичь, право, нехороша для нашего брата, маленькаго звѣря, иногда не мѣшаетъ и немногого образованія....

Старый колдунъ-ѣжъ очень со мной почтителенъ, даже предложилъ мнѣ поселиться въ моей норкѣ, да я отвѣчалъ ему, что теперь я уже не ребенокъ, что доброму зайцу не пристало жить въ норѣ, и сдѣлалъ себѣ прекрасное логво подъ кустомъ ракиты, опутаннымъ до-нельзя полевымъ горошкомъ. Мое логво въ чистомъ полѣ недалеко отъ рощи, а въ рощѣ жить беспокойно: все теперь падаютъ листья и своимъ шедестомъ напоминаютъ мнѣ шелестъ шаговъ чекалки.

Сегодня прекрасное утро, солнце грѣетъ, пиши пропасть— я счастливъ и спокоенъ! Ай да родина—славная сторона!

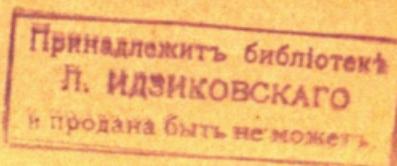
На весну обзаведусь дѣтками и стану съ ними прыгать по рощѣ, вспоминая покойную матушку.... Что сдѣлалось съ Петромъ Ивановичемъ? издохъ ли гадкій Великанъ? Завтра надобно поразспросить о немъ у сорокъ: эти сплетницы выносятъ всякий соръ со двора.... Непремѣнно завтра, не будь я заяцъ, если не узнаю....

---

Этими словами оканчивается переводъ моего двоюродного дѣдушки. Завтра—какъ вы уже знаете изъ предисловія (если его не забыли)—завтра не пришло для бѣднаго зайца и всѣ его замыслы, всѣ мечты утихли, замерли съ послѣдними воплями голоса подъ кинжаломъ Петра Ивановича.

Покойный дѣдушка, переводя записки зайца, перевелъ изъ нихъ множество эпизодовъ, неидущихъ къ исторіи зайца, но очень любопытныхъ, напримѣръ: Сказание синицы о томъ, какъ полевой сверчокъ управляемъ муравейникомъ и что изъ того произошло и т. п. Если понравятся людямъ простыя, нехитрыя приключенія, чувства, бѣдствія и радости звѣрей и всякихъ животныхъ, то я современемъ напечатаю еще нѣсколько переводовъ моего двоюродного дѣдушки.

1840 г.



*Фотография*

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

---

*Стр.*

|   |    |
|---|----|
| ЗАПИСКИ СТУДЕНТА. Повесть о ЧНЬ ГЛУХОЯ . . . . .        | 1  |
| <i>ЧНЬ</i> ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ЗАЙЦА. Предисловие . . . . . | 68 |

Записки зайца:

|   |     |
|---|-----|
| I. Заяцъ оставляетъ свою родину . . . . .           | 76  |
| II. Заяцъ знакомится съ иѣкоимъ наскомымъ . . . . . | 88  |
| III. Полевой сверчокъ льстить журавлямъ . . . . .   | 96  |
| IV. Заяцъ прискакалъ благополучно . . . . .         | 102 |
| V. Заяцъ немного разсуждаетъ . . . . .              | 103 |
| VI. Заяцъ беретъ уроки . . . . .                    | 115 |
| VII. Полевой сверчокъ клевещеть на зайца . . . . .  | 110 |
| VIII. Еще клевета. Плохо зайцу . . . . .            | 111 |
| IX. Заяцъ возвращается на родину . . . . .          | 118 |

---

Д

• 32

По склону виса  
ходил парк и в сад  
до павильона. Павильон  
на подиуме, покрыт  
кофровым бодхисаттвой  
Макакой буддистской  
формы, отчего  
(Всё это изображено).

WB

